ANNALES RUSSES

REVUE MENSUELLE

РУССКІЯ ЗАПИСКИ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ІЮНЬ

XVIII

1939

РУССКІЯ ЗАПИСКИ

ПАРИЖ

СОДЕРЖАНІЕ

Гайто Газданов. — Полет 3

Вл. Піотровскій. — День (Стихотвореніе) 61

І. Матусевич. — Опустошеніе (Разсказ) 62

А. Ачаир. — Стихи одного дня 85

А. Бенуа. — Воспоминанія о балетѣ. — 3. Русскіе балеты в Парижѣ 89

П. Милюков. — Роковые годы. — 15. Противоположныя оцѣнки первой Думы. — Моя роль в Думѣ. — Кокошкин и Винавер.—Бесѣды с крестьянами-трудовиками. — Аладьин. — Критика автономистов. — Опасная тактика большевиков и моя поддержка меньшевиков в полемикѣ с ними 111

П. Паскаль. — По слѣдам протопопа Аввакума в СССР . . . 122

В. Вейдле. — Тютчев и Россія 141

Г. Д. Гурвич. — Соціологическое наслѣдіе Л. Леви-Брюля . . 158

Н. Бассехес. — Внѣшняя политика совѣтскаго союза 171

Хроника: — Переход инициативы. — **Важнѣйшія событія за май** 181

Библіографія: —**С. Осокин:** Александр Гингер «Жалость и торжество». — **В. Вейдле:** И. А. Бунин «Лика». — **П. Бицилли:** М. А. Алданов «Начало конца», ч. 1. — **В. С. Я.:** В. Ф. Ходасевич «Некрополь». — **А. Даманская:** Bernhard Diebold «Ein Reich ohne Mitte». — **П. Бицилли:** «L'Opinion américaine et la France». — **М. В.:** «Oifn Scheidweg. Au Carrefour». — **Е. Юрьевскій:** André Pietre «La politique du pouvoir d'achat devant les faits». — **Б. Г-р:** André Labrouquère «Capitalisme japonais». — **М. К.:** Douglas Reed «Insanity Fair». —**П. Берлин:** «Документы великой пролетарской революціи». 194

ANNALES RUSSES

REVUE MENSUELLE

РУССКІЯ ЗАПИСКИ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

подъ редакцікей П. Н. МИЛЮКОВА

ІЮНЬ

XVIII

ПАРИЖЪ

1939

« Русскія Записки »,51, rue de Turbigo, Paris.

СОДЕРЖАНІЕ

Гайто Газданов. — Полет 3

Вл. Піотровскій. — День (Стихотвореніе) 61

І. Матусевич. — Опустошеніе (Разсказ) 62

А. Ачаир. — Стихи одного дня 85

А. Бенуа. — Воспоминанія о балетѣ. — 3. Русскіе балеты в Парижѣ 89

П. Милюков. — Роковые годы. — 15. Противоположныя оцѣнки первой Думы. — Моя роль в Думѣ. — Кокошкин и Винавер.—Бесѣды с крестьянами-трудовиками. — Аладьин. — Критика автономистов. — Опасная тактика большевиков и моя поддержка меньшевиков в полемикѣ с ними 111

П. Паскаль. — По слѣдам протопопа Аввакума в СССР 122

В. Вейдле. — Тютчев и Россія 141

Г. Д. Гурвич. — Соціологическое наслѣдіе Л. Леви-Брюля . . 158

Н. Бассехес. — Внѣшняя политика совѣтскаго союза 171

Хроника: — Переход инициативы. — **Важнѣйшія событія за май** 181

Библіографія: —**С. Осокин:** Александр Гингер «Жалость и торжество». — **В. Вейдле:** И. А. Бунин «Лика». — **П. Бицилли:** М. А. Алданов «Начало конца», ч. 1. — **В. С. Я.:** В. Ф. Ходасевич «Некрополь». — **А. Даманская:** Bernhard Diebold «Ein Reich ohne Mitte». — **П. Бицилли:** «L'Opinion américaine et la France». — **М. В.:** «Oifn Scheidweg. Au Carrefour». — **Е. Юрьевскій:** André Pietre «La politique du pouvoir d'achat devant les faits». — **Б. Г-р:** André Labrouquère «Capitalisme japonais». — **М. К.:** Douglas Reed «Insanity Fair». —**П. Берлин:** «Документы великой пролетарской революціи». 194

ПОЛЕТ

Событія в жизни Сережи начались в тот памятный вечер, когда он, впервые за много мѣсяцев, увидѣл у себя в комнатѣ, над кроватью, в которой спал, свою мать, — в шубѣ, перчатках и незнакомой шляпѣ чернаго бархата. Лицо у нея было встревоженное и тоже не похожее на то, которое он знал всегда. Ея неожиданное появленіе в этот поздній час он никак не мог себѣ об'яснить, потому что она уѣхала почти год тому назад и он успѣл привыкнуть к ея постоянному отсутствію. И вот, теперь она остановилась у его кровати, потом быстро сѣла и сказала шопотом, чтобы он не шумѣл, что он должен одѣться и сейчас же ѣхать вмѣстѣ с ней домой.

— А папа мнѣ ничего не говорил, — только и сказал Сережа. Но она ничего не об'яснила ему, повторила нѣсколько раз: „скорѣе, Сереженька, скорѣе", — потом вынесла его на улицу, — была мутная холодная ночь, — гдѣ ее ждала высокая женщина в черном, прошла нѣсколько шагов, и за углом они сѣли в автомобиль, который тотчас же покатился с необыкновенной быстротой по незнакомым улицам. Потом, уже сквозь сон, Сережа увидѣл поѣзд, и, когда проснулся, то опять оказалось, что он в поѣздѣ, но что-то неуловимо измѣнилось; и тогда мать, наконец, сказала ему, что теперь он будет жить у нея, во Франціи, а не у отца в Лондонѣ, что она купит ему электрическій паровоз и множество вагонов разнообразнаго назначенія и что они теперь никогда не разстанутся, а папа будет иногда пріѣзжать в гости.

Эту ночь потом Сережа вспоминал много раз: чужое и нѣжное лицо матери, быстрый шопот, которым она гово-

рила, тревожную тишину в прохладном отцовском домѣ в Лондонѣ и затѣм путешествіе в автомобилѣ и поѣздѣ. Только потом он узнал, что они ѣхали еще и на пароходѣ через Ламанш, но о пароходѣ он не сохранил даже самаго отдаленнаго воспоминанія, потому что спал глубоким сном и не чувствовал, как его переносили. Ему было в тот год семь лѣт, и это путешествіе было только началом множества других событій. Они много ѣздили тогда с матерью; потом, однажды, под вечер лѣтняго дня, на террасу над морем, гдѣ он обѣдал вдвоем с матерью, неторопливо вошел отец, снял шляпу, поклонился матери, поцѣловал Сережу и сказал:

— Итак, Ольга Александровна, будем считать нынѣшній день концом этого романтическаго эпизода. — Он стоял за стулом Сережи, и большая его рука трепала волосы мальчика. Он посмотрѣл на свою жену и быстро заговорил по-нѣмецки. Сережа ничего не понимал, пока отец не сказал по-русски: неужели, Оля, тебѣ это не надоѣло? — и опять, спохватившись, стал говорить по-нѣмецки. Еще через нѣсколько минут появилась новая понятная фраза, — на этот раз ее сказала мать:—милый мой, ты этого никогда не понимал и не способен понять, ты не можешь судить об этом.—Отец кивал головой и насмѣшливо соглашался. Плескалось море внизу, под террасой, неподвижно обвисала буро - зеленая пальма почти над волнами, сверкала синеватая вода в маленьком заливѣ, недалеко от узкой дороги. В молчаніи мать покачивала загорѣвшей ногой, неподвижно и выжидательно глядя на отца, точно изучая его, хотя он был таким же, как всегда, — большим, чистым, широким и пріятно гладким. — Противный язык, нѣмецкій, — сказал он, наконец. — Сам по себѣ? — Он разсмѣялся и сказал: — Да, даже независимо от обстоятельств, в которых... — Затѣм мать послала Сережу к себѣ. — А папа не уйдет? — спросил он и тотчас очутился высоко в воздухѣ перед гладким отцовским лицом с большими синими глазами. — Не уйду еще, Сережа, не уйду, — сказал отец.

Они долго разговаривали с матерью на террасѣ. Сережа успѣл прочесть полкниги, а они еще говорили. Потом мать звонила по телефону, Сережа слышал, лежа на полу, как она сказала, — impossible ce soir, mon chéri, — потом: si je le regrette? je te crois bien, chéri, —и Сережа понял, что Шери сегодня не придет и был очень доволен, т. к. не любил этого человѣка, котораго вслѣд за матерью тоже называл Шери, думая, что это его имя, — и вызывая смѣх неизмѣнно оскаленнаго, темнаго лица, над которым густо вились тугіе, курчавые волосы, черные, как сам чорт. Шери больше никогда потом не появлялся. Был другой, немного похожій на него человѣк, говорившій тоже с акцентом, все равно по-русски или по-французски. Отец не уѣхал в тот день, а остался на двѣ недѣли и лишь потом скрылся рано утром, не попрощавшись с Сережей. И послѣ этого, уже в Парижѣ, на вокзалѣ, он встрѣчал жену и сына с цвѣтами, конфектами и игрушками; цвѣты держал в рукѣ, а остальное лежало в том самом длинном синем автомобилѣ, который Сережа помнил еще по Лондону. И тогда они поселились в новом громадном домѣ, и по комнатам квартиры Сережа ѣздил на велосипедѣ и все шло очень хорошо, пока мать снова не уѣхала, взяв с собой только маленькій несессер и жадно поцѣловав Сережу нѣсколько раз. Она, впрочем, вернулась ровно через десять дней, но мужа не застала, нашла только лаконическую записку: „Считаю, что в наших общих интересах необходимо и мое отсутствіе. Желаю тебѣ"... Через два дня, вечером зазвонил телефон—матери не было, она должна была вернуться с минуты на минуту; к телефону позвали Сережу и он издали услышал отцовскій, очень смѣшной, как ему показалось, голос, который спрашивал его, не скучает ли он. Сережа сказал, что нѣт, что он вчера с матерью играл в разбойников и это было очень интересно. — С мамой? — спросил смѣшной голос отца. — Ну да, с мамой, — сказал Сережа и обернувшись, увидѣл ее; она только что вошла в комнату и мягких ея шагов по ковру Сережа не слышал. Она взяла у него трубку и бы-

стро заговорила. — Да, опять, — сказала она. — Нѣт, не думаю. Конечно. Нѣт, просто разныя души, разные языки. Да. В котором часу? Нѣт, отплатить любезностью за любезность, вѣдь ты встрѣчал меня с цвѣтами. Как, и цвѣты для него? Я думала, только игрушки. Хорошо.

— Отчего ты все уѣзжаешь? — спросил Сережа у матери — тебѣ скучно с нами? — Глупый мой Сереженька, — сказала мать, — глупый мой мальчик, глупый мой маленькій, глупый мой бѣленькій. Когда будешь большой, тогда все поймешь.

Так же, как Сережа помнил с первых дней своего сознанія мать и отца, — так же, отчетливо и неизмѣнно, он помнил тетю Лизу, ея черные волосы, красныя губы и ея запах — смѣсь англійских папирос, которыя она курила, духов, тепловатых, скользких матерій и легкой кислоты, ея собственной. Это был очень легкій запах, но такой характерный, что забыть его было невозможно, так же, как особенный ея голос, всегда звучавшій точно издалека и необыкновенно пріятный. Но насколько жизнь отца и матери была полна об'ясненій, разговоров на непонятном нѣмецком языкѣ, от'ѣздов, путешествій, возвращеній и неожиданностей, настолько существованіе Лизы было лишено каких бы то ни было неправильностей. Она, дѣйствительно, была как бы живым укором для родителей Сережи — у нея в жизни все было так ясно, безупречно и кристально, что Сережа слышал случайно, когда лежал в своей любимой позѣ на полу в коридорѣ, как отец сказал матери: — посмотрѣть на Лизу, так вѣдь даже и подумать невозможно, что она может вдруг ребенка родить, а между тѣм... И мать Сережи всегда глядѣла на Лизу немного виноватыми глазами; даже сам отец точно ежился в ея присутствіи, и вообще всѣ словно извинялись перед тетей Лизой за собственное несовершенство, особенно неприглядное по сравненію с ея безспорным нравственным великолѣпіем. Смутно, едва-едва, у Сережи проступало, однако, воспоминаніе о том, что, когда он был совсѣм маленьким и тетя Лиза вы-

вела его гулять, — рядом с ними шел какой то человѣк, оживленно разговаривавшій с теткой. Но это было так давно и так неотчетливо, что Сережа не был увѣрен, не видѣл ли он это во снѣ. Обычное состояніе тети Лизы было спокойное удивленіе. Она удивлялась всему: и поведенію родителей Сережи, и возможности такого поведенія, и книгам, которыя она читала, и газетам, и преступленіям, и не удивлялась только вещам героическим и маловѣроятным, — напримѣр, когда кто-нибудь жертвовал своей жизнью за кого нибудь, или спасал людей, или предпочитал смерть позору. Она была не толстая и почти такая же гладкая, как отец, очень чистая, со всегда прохладными, твердоватыми руками. Когда однажды они всѣ вчетвером — Сережа, его родители и тетя Лиза — проѣзжали случайно мимо уличнаго тира, и отец вдруг остановил автомобиль и сказал: — ну, дѣвочки, тряхнем стариной, пострѣляем, а? — мать Сережи ни разу не попала в цѣль, отец дал нѣсколько промахов, хотя вообще стрѣлял хорошо, и только тетя Лиза, поставив ребром картонную мишень, срѣзала ее пятью пулями и сбивала шарик за шариком на подпрыгивающих струях фонтана. — У тебя рука не дрогнет, Лиза, — сказал тогда отец.

По мѣрѣ того, как Сережа становился старше, начинал больше понимать в людях и безсознательныя его сужденія обо всем мало-по-малу прояснялись, он стал думать, что тетя Лиза была непохожа на других людей в том смыслѣ, что у тѣх в теченіе их жизни все мѣнялось — в зависимости от обстоятельств, событій, впечатлѣній; они могли находить нелѣпым то, что год тому назад им казалось совершенно цѣлесообразным, чрезвычайно часто себѣ противорѣчили и вообще мѣнялись настолько, что было даже трудно отличить, кто умен, кто глуп, даже, кто красив или некрасив; другими словами, сила их сопротивленія внѣшним причинам, опредѣляющим их жизнь, была ничтожна — и постоянством они отличались лишь в очень рѣдких и всегда ограниченных отношеніях. Сережа знал громадное ко-

личество людей, потому что через дом его отца проходили самые разнообразные и многочисленные гости, посѣтители, просители, друзья, женщины и родственники. Тетя Лиза отличалась от всѣх тѣм, что в ней ничего не мѣнялось. Вся сложная система чувств, знаній и представленій, которая у других была движущейся и мѣняющей свои формы, оставалась у нея такой же постоянной и неподвижной, какой была раньше, — точно мір вообще был каким - то неизмѣняющимся понятіем. Так думал о Лизѣ Сережа, так же думали другіе, и это продолжалось много лѣт, до тѣх пор, пока не произошли событія, показавшія явную ошибочность этих представленій. Впрочем, у Сережи, знавшаго Лизу ближе, чѣм всѣ остальные, начали зарождаться нѣкоторыя сомнѣнія в точности того образа тети Лизы, который он себѣ создал, еще за нѣсколько лѣт до этих событій, когда при нем его отец и Лиза спорили о недавно вышедшем романѣ. В романѣ этом разсказывалась исторія человѣка, посвятившаго жизнь женщинѣ, его не любившей, и оставившаго ради нея другую, для которой он был дороже всего на свѣтѣ. Отец защищал этого человѣка. — Ты понимаешь, Лиза, вѣдь главное, — это, что его тянуло именно к vilaine, а другая была почти что безразлична. Ну, она его любила, ну, это очень пріятно и добродѣтельно, но вѣдь ему другой хотѣлось, ты понимаешь?

— Я не говорю, что не понимаю причины этого, — сказала Лиза. — Причина ясна. Вопрос в другом: в глупой невѣрности этого предпочтенія, в его ничтожности. Она заслуживала счастья больше, чѣм та, другая.

— Счастья вообще не заслуживают, Лиза, — кротко сказал отец—оно дается или не дается.—Нѣт, заслуживают, — твердо сказала Лиза. Сережа слушал, его удивляло то, что отец говорил мягким и тихим голосом, а тетя Лиза отвѣчала ему твердо и безжалостно, глаза ея расширились и разозлились, и Сережа сказал — папа, а ты обратил вниманіе, какая у нас тетя Лиза красавица? — И отец смутился и отвѣтил, что он давно обратил и что всѣ это знают.

Тетя Лиза поднялась и ушла, и вид у отца был смущенный, — что могло показаться удивительным, потому что спор был отвлеченный и не мог имѣть никакого отношенія ни к отцу, ни к теткѣ. Тогда, впервые за все время, Сережа видѣл тетю Лизу вышедшей из своего неизмѣннаго спокойствія.

Отца и мать Сережа видѣл в общем сравнительно рѣдко, — тетя Лиза была почти постоянно с ним. У отца были дѣла, занятія, поѣздки; у матери была своя, совсѣм чужая жизнь. Случалось, что по два, по три дня Сережѣ не приходилось слышать ея быстрой походки и только потом она появлялась; входила в его комнату, говорила — здравствуй, Сереженька, здравствуй, мой миленькій, вот я по тебѣ соскучилась, прямо ужас. Она вообще говорила с ним такими теплыми, уютными словами, всегда сразу понимала то, что его интересовало в данную минуту, играла с ним охотно и подолгу была мягкая и вкусная. Она знала, почему у нѣкоторых собак длинные хвосты, а у других короткіе, почему кошки не ласковыя, почему у лошадей глаза сбоку и какой длины бывают крокодилы. Тетя Лиза тоже знала все это, но ея отвѣты никогда не удовлетворяли Сережу, потому что в них нехватало чего-то главнаго, может быть, этой уютности и теплоты. Но полное счастье Сережа испытывал только тогда, когда всѣ уѣзжали из дому, а его оставляли одного на попеченіи прислуги. Обычно этому предшествовал приход Сергѣя Сергѣевича с какой нибудь особенно сложной игрушкой; отец давал ее Сережѣ, потом говорил, что надѣется на хорошее поведеніе, просил Сережу не огорчаться, и через нѣсколько минут Сережа из окна видѣл как от'ѣзжал длинный автомобиль отца. Послѣ этого он мог дѣлать все, что угодно. Он стрѣлял из лука в портрет бабушки, с'ѣзжал по перилам лѣстницы, катался в лифтѣ до головной боли — вверх - вниз, вверх - вниз — и все свободное время лежал на полу, об'ѣдался пирожными, выливал суп в уборную, ѣл пригоршнями соль и не хотѣл умываться. Вечером, лежа на полу, он натирал руками

глаза и потом с удовольствіем видѣл перед собой зеленыя искры.

Потом, когда он стал старше, его свободы никто не стѣснял, и тогда он начал понимать, что родителям не было до него, в сущности, никакого дѣла. Та постоянная смѣна людей, которую он помнил всегда, не только не прекращалась, но еще как будто усилилась, — и он жил в сторонѣ от этого. Когда ему было шестнадцать лѣт, он впервые пригласил тетю Лизу в театр. К тому времени ея авторитет нѣсколько ослабѣл; она смѣялась нѣкоторым его замѣчаніям, говорила, — как ты думаешь? — и Сережа чувствовал себя почти равным ей. Про родителей Сережи и он, и она говорили „они", — точно безсознательно противопоставляя их себѣ. Они вмѣстѣ читали, слушали однѣ и тѣ же мелодіи, любили однѣ и тѣ же книги. Лиза была ровно на пятнадцать лѣт старше Сережи. Он начал видѣть ее во снѣ, в смутных и неправдоподобных обстоятельствах; потом, однажды, — была поздняя весна и третій час ночи, Сережа читал у себя в комнатѣ, — вдруг во всем домѣ загорѣлся свѣт, послышались шаги и голоса; родители Сережи вернулись с бала и привели с собой еще нѣсколько человѣк, чтобы „кончить вечер" дома; через нѣсколько минут раздался знакомый стук в дверь, и вошла Лиза, в очень открытом, черном платьѣ, с голой спиной, обнаженными — прохладными, подумал Сережа, — руками, и низким вырѣзом на груди. Глаза ея казались больше, чѣм обычно, под прямыми рѣсницами и возбужденная улыбка была непохожа на всегдашнюю. В эту минуту Сережа почувствовал необъяснимое волненіе, такое, что когда он заговорил с ней, у него срывался голос. — Перечитался ты, Сережа, — сказала она, садясь рядом с ним и положив руку на его плечо. — Я пришла пожелать тебѣ спокойной ночи, — и она тотчас же ушла, не обратив никакого вниманія на необычное состояніе Сережи, — как ему показалось. Послѣ того, как за ней закрылась дверь, Сережа лег не раздѣваясь; его слегка тошнило, было смутно, предчувственно и пріятно.

И вот, с необыкновенной быстротой, за два мѣсяца, прошедшіе с этого вечера до от'ѣзда Сережи на море, лѣтом, произошла глубокая и непоправимая перемѣна, которая началась с того, что весь идиллическій мір затянувшагося, запоздавшаго Сережинаго дѣтства разсыпался и исчез. За это время не произошло, однако, никаких фактических измѣненій; попрежнему задушевно и нѣжно звучал голос матери, когда она говорила с кѣм-то по телефону, попрежнему отец ѣздил взад и вперед по городу, попрежнему вечерами громадныя комнаты наполнялись различными людьми, и все было так же, как раньше. Но Сережа вдруг понял множество вещей, которыя хорошо знал и прежде и о которых имѣл совершенно неправильное представленіе. Отрывочныя фразы из разговоров отца с матерью теперь ему стали ясны, так же, как сдержанное раздраженіе Лизы; он замѣтил многое другое, — что деньги тратились безпорядочно и уходило их во много раз больше, чѣм нужно. Он понял вдруг, как жила его мать, — и это вызвало у него сожалѣніе, смѣшанное с нѣжностью. Присутствуя иногда при разговорах в гостиной, он вслушивался внимательно в то, что говорилось, слѣдил за любопытнѣйшей скачкой интонацій разных людей и иногда, закрывая добровольно для себя смысл произносившихся фраз, слушал только звуковыя их смѣщенія, похожія в общем на какой то своеобразнѣйшій концерт — с повышеніями, пониженіями, монотонными баритональными нотами, высокими женскими голосами, которые ахали и срывались и вновь возникали потом, под глухой, глубокій аккомпанемент хрипловатаго баса; и, зажмуривая глаза, Сережа ясно видѣл перед собой турецкій барабан с туго натянутой, мертвенно безразличной кожей — на том мѣстѣ, гдѣ в самом дѣлѣ никакого барабана не было, а сидѣл почтеннѣйшій старик, философ и спеціалист по консультаціям о многочисленных нарушеніях международнаго права.

Отец Сережи принадлежал к числу немногих людей, которым по наслѣдству досталось значительное богатство

и которые не только не растратили, но еще и увеличили его. Этому способствовало и то, что он был — широкій, небрежный и великодушный — в дѣлах умен и, в сущности, осторожен, и то, главным образом, что всю жизнь ему сопутствовала слѣпая удача. У него были предпріятія в нѣсколькихъ странах, на него работали тысячи людей, и это его положеніе об'ясняло тот факт, что он был знаком со всѣми знаменитостями и что в его домѣ собирались музыканты, писатели, пѣвцы, инженеры, промышленники, актеры и представители той особенной породы людей, которые всегда прилично и хорошо одѣты, но источники доходов которых, — если прослѣдить это до конца, для чего в большинствѣ случаев понадобилось бы либо счастье, либо безцеремонность полицейскаго разслѣдованія, — но чьи источники доходов, стало быть, бывали почти всегда такого рода, что в них никак нельзя было признаться. И в то время, как Лиза относилась к этим людям с брезгливостью, отец хлопал их по плечу, вообще вел себя с той широкой и фальшивой задушевностью и откровенностью, истинную цѣнность которых знали только очень близкіе люди. Когда Сережа сказал своему отцу, что его обкрадывают, отец разсмѣялся. — Ты не вѣришь? — Тогда он, не переставая посмѣиваться и глядя на Сережу веселыми глазами, отвѣтил: — А хочешь, я тебѣ скажу, кто и насколько ворует? — И об'яснил Сережѣ, что так и нужно, что другіе все равно будут воровать. Но это убѣжденіе не вызвало в нем ни огорченія, ни удивленія, он принимал это как должное и иногда забавлялся тѣм, что ставил своих служащих в глупое положеніе, — как он сдѣлал, напримѣр, с шоффером, обкрадывавшем его на маслѣ, бензинѣ и тысячѣ других вещей и неизмѣнно представлявшим„трюкованныя" фактуры. Он сказал владѣльцу гаража, в котором все это обычно покупалось, что это обходится ему слишком дорого и что он будет вынужден перемѣнить поставщика — и в доказательство представил фактуры, от которых владѣлец гаража пришел в ужас и только повторял блѣдным голосом, —

Oh, non, monsieur, jamais, monsieur, — и тотчас принес книгу записей, гдѣ были совершенно другія суммы, разница между которыми оказалась чуть ли не половинной. Шоферу, однако, он ничего не сказал и тот выяснил катастрофу только в гаражѣ, гдѣ ему об'яснили все. Он уже приготовился складывать чемоданы, но в тот же день ему был заказан автомобиль, и Сергѣй Сергѣевич только вскользь замѣтил, что бензин, кажется, подешевѣл, потрепал шоффера по плечу, сказал, — ah, sacré Joseph, — и по дорогѣ все посмѣивался. Шоффер, впрочем, через нѣкоторое время, послѣ длительных сомнѣній и борьбы противорѣчивых чувств, ушел сам, так как ежедневное сознаніе того, что он теперь не может воровать, а принужден довольствоваться жалованьем, довело его до нервнаго заболѣванія. Он был простой человѣк, из овернских крестьян, нечувствительных к физической усталости, но незащищенный душевно и умственно против непредвидѣнных и, в сущности, незаконных положеній. Он потом проворовался довольно крупно и попал было в тюрьму, из которой его вызволил Сергѣй Сергѣевич, — но было слишком поздно и разница оказалась лишь та, что вмѣсто тюрьмы, его посадили в сумасшедшій дом, откуда он вышел уже совершенно разбитым человѣком.

В других случаях это бывало менѣе трагично, но так или иначе, Сергѣй Сергѣевич, дѣйствительно, знал, на сколько его обкрадывают и только ограничивался тѣм, что включал эти суммы как самостоятельную и естественную статью в свои бюджетныя исчисленія, в которых вообще было множество статей. Он субсидировал театры, поддерживал начинающіе таланты, в которые очень плохо вѣрил сам, вообще платил всегда и всюду, это входило в его обязанности владѣльца большого состоянія, и он выполнял свой долг так же, как дѣлал все остальное, — с удовольствіем, с улыбкой и кажущимся неразсуждающим одобреніем. Он говорил, напримѣр, редактору крупной желтой газеты, в которой должны были появиться статьи, пропа-

гандирующія одно из его предпріятій, — внося значительную сумму на благотворительныя цѣли неправдоподобно - фантастической организаціи, возникшей в воображеніи редактора полчаса тому назад и расцвѣтшей там, как романтическій мираж, призрачность котораго была совершенно очевидна для всякаго нормальнаго человѣка: „я знаю, мой дорогой, что ваша неподкупная честность"... И редактор уходил, испытывая сложное чувство, состоявшее главным образом из благодарности и сожалѣнія к этому наивному милліонеру и смутнаго подозрѣнія, что, если наивный милліонер только дѣлает вид, что вѣрит, а в самом дѣлѣ знает все, то это пожертвованіе и прочувственныя слова о неподкупности звучат уже слишком издѣвательски. С такой же беззавѣтной вѣрой в будущее он принимал пѣвца неопредѣленной національности, но явно южнаго типа, — с черными, как вакса, волосами, грязновато - желтыми бѣлками глаз и руками спорной чистоты. Со всѣм этим он никогда не давал больше, чѣм полагалось по сложной системѣ цѣнностей, выработанной долголѣтним опытом и в силу которой, напримѣр, субсидіи людям южнаго происхожденія всегда были значительно меньше, чѣм субсидіи представителям сѣверных рас, к которым, впрочем, он питал нѣчто в родѣ національной слабости. Нескончаемая армія стрѣлков прошла сквозь его жизнь, удивительное разнообразіе просителей, начиная от корректных людей с ласковыми баритонами и сложной біографіей, непремѣнно заключавшей в себѣ нѣсколько патетических моментов, внушенных чаще всего чтеніем романов, даже не третьяго, а второго сорта, имѣвших, стало быть, несомнѣнную вдохновительную цѣнность — и кончая хриплыми, почти расплывчатыми персонажами, безконечно удаленными от каких бы то ни было отвлеченных идей, сосредоточенными исключительно на предметах первой необходимости и стоимость которых колебалась между двумя и пятью франками. Множество людей писали ему письма с разными предложеніями, был даже особый отдѣл писем матримоніаль-

ных с описаніями внѣшности, идущими от лаконически - увѣреннаго "недурна собой", до "страннаго очарованія", и даже "неукротимой жестокости" нѣкоторых наиболѣе непримиримых кандидаток на семейное счастье, идея котораго тоже таким образом таила в себѣ устрашающее многообразіе. В его жизни, однако, не все были только письма и просьбы о деньгах; два раза на него покушались, и оба раза его спасла счастливая случайность, та самая слѣпая удача, которая не измѣняла ему нигдѣ и выводила его из самых безвыходных положеній, вродѣ смертнаго приговора, вынесеннаго ему в Крыму революціонным трибуналом, в котором не было ни одного трезваго человѣка; и часовой плохо запертаго сарая, в котором он сидѣл, был убит шальной пулей какого то не в мѣру разстрѣлявшагося матроса, что позволило Сергѣю Сергѣевичу бѣжать и добраться до севастопольской пристани, возлѣ которой не было уже ни одного парохода — и только в почти наступившей темнотѣ их силуэты чернѣли на рейдѣ. Сбросив куртку и сапоги, он спрыгнул с пристани в ледяную осеннюю воду и в бурный и холодный вечер доплыл до англійскаго миноносца, капитану котораго он через полчаса разсказывал свою исторію, смѣясь в особенно нелѣпых мѣстах, — там, напримѣр, гдѣ рѣчь шла о засѣданіи революціоннаго трибунала. А через два дня в константинопольском кабарэ он поил шампанским чуть ли не половину экипажа и пѣл ирландскія пѣсни, которых не знал, что, впрочем, не имѣло значенія; кромѣ этого, он запоминал их с такой же легкостью, как все остальное. Легкость эта была вообще характерна для всей его стремительно - счастливой жизни. Он никогда не задумывался над важными рѣшеніями; они с самаго же начала казались ему ясными и исключающими возможность ошибки, которая была бы просто очевидной глупостью. Он понимал все так быстро, что отсюда у него образовалась привычка не кончать фраз. Так же, как хорошо грамотный человѣк, читая книгу, не теряет времени на постепенное и послѣдовательное соедине-

ніе букв и не повторяет про себя слова, а скользит глазами по привычным зрительным изображеніям печатных строк и все быстро и послушно проходит перед ним, — так он разбирался в дѣлах, выводах и возможностях какого либо предпріятія или начинанія или треста, нуждавшихся, казалось бы, в длительном изученіи. Вмѣстѣ с тѣм он никогда не требовал от других, чтобы они старались поспѣвать за ним в его заключеніях, — точно заранѣе считал, что имѣет дѣло с кретинами; и когда кто нибудь из его директоров обнаруживал быстрое пониманіе дѣла, он всегда бывал пріятно удивлен. Но так как и в том, и в другом случаѣ он говорил однѣ и тѣ же лестныя и любезныя вещи, то недостаточно знающіе его люди полагали, что он не умѣет отличать хорошаго служащаго от плохого и просто его счастье, что у него подобрался такой удачный персонал почти всюду.

Но он никогда никого не любил по настоящему, — как никогда не был до конца откровенен, — и это знали и Ольга Александровна и Лиза. С женой он был всегда очень хорош, как с самой лучшей подругой; но здѣсь — это был первый случай в его жизни — она ждала от него другого, того самаго, о чем она читала в романах, над которыми он продолжал смѣяться, потому что для него было очевидно, что эти книги написаны неумѣлыми, не очень культурными, чаще всего примитивными людьми; но он твердо знал, что об этих же вещах были написаны самыя прекрасныя страницы разных литератур, — и эти вещи и он понимал и даже любил, но только тут его непогрѣшимая легкость и безошибочность оказывалась несостоятельной; и он сознавал эту свою вину перед Ольгой Александровной, которой он как-то давно, вначалѣ их супружества, не мог ничего отвѣтить, когда, подняв на него свои темные и нѣжные глаза, она сказала ему:

— Ты говоришь о хорошем отношеніи. Я, Сережа, говорю о любви.

Любовь, дѣйствительно, была самым важным в жизни Ольги Александровны и единственным, что ее по настоящему интересовало и занимало. Все остальное имѣло только, так сказать, предварительную цѣнность и находилось как бы в функціональной зависимости от самаго главнаго. Надо было ѣхать, было необходимо ѣхать куда - нибудь, — потому что там ждала ее встрѣча; надо было прочесть такую-то книгу, — чтобы потом говорить о ней с тѣм, кто был единственным, чьи разговоры казались ей интересны; нужно было красивое платье, — для того чтобы понравиться; нужно было, вообще — и иначе было невозможно — любить и переживать. Она вышла замуж восемнадцати лѣт; но уже до брака у нея было три неудачных романа. Она влюбилась в Сергѣя Сергѣевича, как только его увидѣла; это было на балу, в Москвѣ, и тогда же она сказала своей матери, что за этого человѣка она выйдет замуж, что, дѣйствительно, произошло через нѣсколько мѣсяцев. Она никогда не была хороша собой, но обладала такой могучей силой привлекательности, что сопротивляться ей было трудно и ненужно. Ее любили всѣ — и родители, прощавшіе ей все, и прислуга, и сестры, и братья; она с необыкновенной легкостью добивалась того, чего хотѣла; и ее также любили дѣти и животныя. И даже Сергѣй Сергѣевич, имѣвшій о женщинах снисходительное сужденіе, сразу почувствовал к ней такое влеченіе, над которым он сам посмѣивался и шутил, но противостоять которому не мог. Послѣ перваго же поцѣлуя она сказала ему, что она его очень любит и хочет выйти за него замуж. Она была небольшого роста, волосы у нея были черные, над темными ея глазами были коротенькія рѣсницы, отчего глаза казались больше, чѣм они были: первое впечатлѣніе, которое она производила, было впечатлѣніе необыкновенной молодости и здоровья, — и в ней, дѣйствительно, текла неутомимая и обильная кровь, она не знала ни усталости, ни болѣзней, ни недомоганія. Она измѣнила мужу через четыре мѣсяца послѣ брака; но это было случайно и несущественно. Послѣ рож-

денія сына она в теченіе цѣлаго года не обращала никакого вниманія на свою внѣшность, проводила все время с ребенком, с жадностью слѣдила, как он начал ходить и, вообще, была занята только им. Потом, однажды вечером, уложив его спать, она остановилась перед зеркалом, осмотрѣла себя внимательно, ахнула и пришла к мужу, чтобы спросить его, как он может еще ее любить. Он в это время писал — и, оторвавшись на секунду от листа бумаги, сказал:—несмотря, Леля — и продолжал писать, пока она не подошла к нему вплотную и не сѣла к нему на колѣни. Тогда же возник очередной спор о любви; эти споры всегда начинала Ольга Александровна, к которой в то время Сергѣй Сергѣевич уже не ощущал того непобѣдимаго влеченія, которое заставило его жениться на ней; и теперь ему казался необ'яснимым тот легкій и почти прозрачный туман, который был характерен для первых мѣсяцев их близости. Теперь начался період его отрицательной любви, как это называла Ольга Александровна; он охотно ей все прощал, никогда на нее не сердился и удовлетворял всѣ ея желанія, но никак не мог бы сказать, что без нея жизнь потеряла бы смысл. — Ну, а что ты думаешь о супружеской измѣнѣ? — Темперамент и в нѣкоторой степени этика, — сказал он. — Все какія-то ненастоящія, ничего необ'ясняющія слова, — сказала она — что такое темперамент? что такое этика? Он достал с полки два тома Брокгауза и Эфрона, дал их ей и сказал: — Прочти и попробуй подумать. Знаю, что тебѣ это непривычно. Но возможно, Леля. И когда она уходила, он крикнул ей вслѣд: — И случайность тоже. В дальнѣйшем, уже за-границей, ему представилось множество возможностей провѣрить эти сужденія о том, чѣм вызывается супружеская измѣна, еще и потому, что через нѣкоторое время он замѣтил, что у Ольги Александровны уходили уж что-то слишком большія суммы денег. Он быстро подсчитал, сколько она должна была бы тратить, если не возникало чрезвычайных и непредвидѣнных расходов, и увидѣл, что количество денег, которое ушло, превышало вдвое эту

сумму. Тогда он сказал, вскользь, как всегда, о шантажѣ, о томъ, что неосторожно вообще писать письма. И так как Ольга Александровна попрежнему дѣлала вид, что не понимает, он сказал ей, что он все равно все знает и что она не должна бояться каких бы то ни было разоблаченій. Через нѣкоторое время к нему явился человѣк в черном пальто, черном котелкѣ, черных туфлях и черном галстукѣ, котораго он принял с обычным своим радушіем, но сказал, что в его распоряженіи ровно пять минут. Когда этот человѣк об'яснил ему цѣль визита, Сергѣй Сергѣевич сказал, что он совѣтует ему заняться чѣм нибудь другим, потому что это не доставит ему ничего, кромѣ огорченій. Человѣк, не смутившись, заговорил о газетах. Сергѣй Сергѣевич встал, чтобы подчеркнуть, что визит затянулся, и сказалъ:

— Лучше не пробуйте; и, повѣрьте, я знаю, что говорю. И когда тот уже уходил, он сказал ему с вопросительной улыбкой:

— Хотите пятьдесят франков за безпокойство?..

Больше он никогда не принимал ни этого человѣка, ни его послѣдователей, а на многочисленныя письма не отвѣчал, и вопрос был ликвидирован, когда он сказал своей женѣ, — отрывочно, как всегда, и не об'ясняя:

— Выбирала бы болѣе порядочных, Леля.

Он сказал эту фразу, желая дать женѣ дружескій совѣт, но заранѣе зная, что она ему не послѣдует. Давно уже он понимал, что ея выбор никак не мог руководиться какими бы то ни было раціональными соображеніями, и знал, что она выбирает людей не по признаку достоинств, а по своеобразному соединенію физическаго тяготѣнія с интуитивным предчувствіем их особеннаго нравственнаго склада, в котором эти самыя этическія соображенія, чаще всего, не играли никакой роли. Сергѣй Сергѣевич понимал также, почему он не подходил для своей жены. Об'ясненіе заключалось отчасти в том, что ему было скучно разсказывать о своих переживаніях, — он слушал из деликатности нѣсколько минут, потом говорил: — да, Леля, я знаю — и,

дѣйствительно, знал заранѣе все, о чем она собиралась разсказывать. Тѣ же, другіе, были, чаще всего, люди душевно примитивные, не понимающіе своих чувств — и каждый роман Ольги Александровны был как бы новым об'яснительным путешествіем в сентиментальныя страны, гдѣ она играла роль гида, — как это сказал о ней Сергѣй Сергѣевич, разговаривая как то с Лизой. Вообще, в домѣ многое было неблагополучно, — и этого не замѣчала только Ольга Александровна, и дѣлал вид, что не замѣчал — хотя знал все, до мельчайших подробностей — Сергѣй Сергѣевич; но это хорошо знала Лиза и имѣла для этого всѣ основанія, и это чувствовал теперь Сережа.

Семья Сергѣя Сергѣевича рѣдко проводила лѣто вмѣстѣ. В этом году, как почти всегда, все получилось неожиданно. Ольга Александровна, послѣ нѣсколькихъ дней особеннаго возбужденія и разрѣшенія многих мучительных вопросов о том, вправѣ ли она или не вправѣ поступать так, как ей диктовали ея желанія, внезапно уѣхала, неопредѣленно, — в Италію. Перед от'ѣздом она с бьющимся сердцем и пылающим лицом пошла к Сергѣю Сергѣевичу. Несмотря на то, что вся жизнь Ольги Александровны состояла именно из от'ѣздов и измѣн и, казалось, можно было бы уже к этому привыкнуть, она всякій раз переживала все это с такой же силой, как и в ранней молодости, и так же мучилась, как всегда, потому что совершала нѣчто нехорошее и запретное и дурно поступала по отношенію к мужу и к Сережѣ. Но то, в жертву чему она приносила всѣ эти безплодныя чувства, казалось ей настолько замѣчательным, что в окончательном рѣшеніи вопроса сомнѣній быть не могло. И совершенно так же, как в ней было неискоренимо пониманіе своего долга жены и матери, так же ея иллюзіи по поводу очередного от'ѣзда были свѣжи и неувядаемы. Каждый раз она уѣзжала навсегда, в неизвѣстность, обрекая себя, быть может, на полу-нищен-

ское существованіе. Если это выходило иначе, то не по ея винѣ.

Но направившись к Сергѣю Сергѣевичу, она вдруг вспомнила, что сегодня был четверг, его пріемный день. Тогда она позвонила ему по телефону и тотчас услышала его ровный голос в отвѣт: — Я очень занят, Леля. Да. Не раньше, чѣм через час. Не можешь? Хорошо, я сейчас.

Он вошел к ней, она была уже в шляпѣ и перчатках, в дорожном костюмѣ, с несессером в руках. В глазах ея Сергѣй Сергѣевич увидѣл опять то тревожное выраженіе, которое хорошо знал. Но оттого, что он его увидѣл, его лицо совершенно не измѣнилось, как не измѣнилась улыбка и голос. — Ну, что, ѣдем, Леля?—сказал он.—Да,—отвѣтила Ольга Александровна, причем это „да" вышло помимо ея желанія упавшим и, невольно, актерски - значительным. — Далеко? — В Италію. — Прекрасная страна, — мечтательно сказал Сергѣй Сергѣевич; — впрочем, ты это знаешь не хуже меня, ты вѣдь не впервые ѣдешь в Италію. Очень хорошо, ты что-то нервничала в послѣднее время, это тебя развлечет. Я рад за тебя. Ну, желаю тебѣ всего хорошаго, пиши.

Он поцѣловал ей руку и ушел. Она постояла нѣсколько секунд, потом вздохнула и стала спускаться вниз, к подъѣзду, гдѣ ее уже ждал автомобиль. Ни Сережи, ни Лизы не было дома, они ушли с утра.

Сергѣй Сергѣевич вернулся к себѣ, гдѣ его уже ждала очередная посѣтительница, знаменитая артистка Лола Энэ, пришедшая просить у него субсидію на мюзик - холль, который она собиралась открывать. Это была очень старая женщина, годившаяся по возрасту в матери Сергѣю Сергѣевичу, но убѣжденная в своей неотразимости, перенесшая много хирургических операцій, проводившая ежедневно долгіе часы в заботах о массажѣ, наружности и туалетах. На первый взгляд, и особенно издали, она, дѣйствительно, могла показаться молодой. Сергѣй Сергѣевич мельком взглянул на мертвенно неподвижную кожу ея ли-

ца и длинныя, черныя рѣсницы, туго загнутыя вверх, и вспомнил, что эта женщина только года два тому назад вышла замуж за человѣка, который был моложе ея больше чѣм на тридцать лѣт.

— Toujours délicieuse, toujours charmante, — сказал Сергѣй Сергѣевич, здороваясь с ней — Je suis vraiment heureux de vous voir.

Она улыбнулась, обнажив прекрасные зубы. Но чувствовала она себя, — как давно, уже много лѣт, — неважно. Сейчас ее мучил геморрой, она сидѣла точно на раскаленном пятакѣ и, когда она смѣялась или сморкалась, то острая боль, начинавшаяся именно в том мѣстѣ, гдѣ был геморрой, отдавалась во всем тѣлѣ. А когда эта боль проходила, ей начинало смертельно хотѣться спать, и она дѣлала усиліе, чтобы не уронить голову на грудь. Иногда ей это не удавалось, и она все же засыпала на секунду; открывая потом глаза и вздрагивая, она об'ясняла, что у нея бывают такіе минутные éblouissements, об'ясняющіеся усиленной работой. Она прожила долгую, шумную и, в сущности, трудную жизнь; и из людей, видѣвших ея дебюты в театрѣ, давно уже почти никого не было в живых. Но она не задумывалась над этим. Она вообще не задумывалась. Ея память была загромождена пьесами, репликами, діалектами и интонаціями безконечнаго ея репертуара. Так как она была очень глупа, то, несмотря на долгую свою карьеру, она не научилась ничему, ничего не понимала в искусствѣ и слѣпо вѣрила театральным критикам. Она искренно считала шедевром злополучную „Даму с камеліями"; впрочем, она лично очень близко знала ея автора, котораго считала геніем. Она с восторгом говорила о трагедіях Корнеля, которых, помимо всего, просто не могла понять из-за недостаточной своей культуры; но с неменьшим энтузіазмом она относилась ко многим современным пьесам, уже вовсе малограмотным и не имѣющим даже самаго отдаленнаго отношенія к искусству и авторы которых находились примѣрно на ея умственном уровнѣ — с той разницей, что ея

ум был неподвижен, а их — отличался нѣкоторым примитивным динамизмом. Жизнь ея прошла в пьесах и романах, которые она помнила всѣ, несмотря на их чудовищное количество. В молодости она, дѣйствительно, была очень хороша собой, и собственно это безспорное ея животное великолѣпіе и опредѣлило ея карьеру. Она пріѣхала в Париж из Нормандіи шестнадцатилѣтней дѣвушкой с тѣм, чтобы поступить горничной, и уже до ея от'ѣзда старая ея тетка, которая провела в Парижѣ много лѣт, учила ее, как нужно себя вести, на чем выгоднѣе обкрадывать хозяев, как разговаривать с поставщиками провизіи и снабдила ее вообще множеством совѣтов, которым Лола — ея настоящее имя было Марія — собиралась в точности слѣдовать. Но вышло иначе, потому что она поступила сразу же к человѣку, совершенно одинокому, страстному любителю театра. Он был довольно богат и вел театральный отдѣл в одной из газет праваго направленія. Так как он начинал в тѣ времена старѣть и так как бурная его жизнь успѣла его утомить, то признаки этой усталости и еще нѣкоторой наивности, происходившей от восторженнаго и ограниченнаго его ума, начали сказываться в стилѣ его статей и фельетонов, пріобрѣтавших восклицательно - разговорный тон. — Est-il possible que ce soit ainsi? allons, allons!— или — „mais si, mon pauvre lecteur, mais si!»

Новаторы, по его мнѣнію, были просто des gens de mauvaise volonté. Но он был, в сущности, неиспорченный человѣк с чистым сердцем, и это было тѣм болѣе удивительно, что он провел свою жизнь в актерской средѣ. Он влюбился в Лолу с необыкновенной и неожиданной силой, которой совершенно не соотвѣтствовали его физическія возможности. Так как он был очень влюблен, то находил в Лолѣ всѣ достоинства и рѣшил, что единственная вещь достойная ея, это рампа. Он был довольно вліятельным человѣком, близко знавшим всѣх актеров и директоров театра, и, благодаря ему, Лола, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцев подготовки, дебютировала в небольшом театрѣ на окраинѣ Па-

рижа. С тѣх пор ея карьера не была ничем прерываема. Ея первый покровитель вскорѣ умер, послѣ роскошнаго ужина с шампанским и какими то древнѣйшими винами, жестокаго совершенства которых уже не мог вынести его усталый организм. Он умер сразу, едва лег в постель, и Лола, надѣв на голое тѣло пальто, отправилась за доктором, который пришел и сказал: — Il n'est plus, mon enfant. — Она стояла рядом с кроватью, пальто ея распахнулось, и доктор, не будучи в силах, — вдруг, так, в первый раз в своей жизни, — сопротивляться внезапному и неудержимому желанію, начал цѣловать в совершенном изступленіи это послушное тѣло и тотчас же увез Лолу к себѣ, гдѣ она и осталась на нѣкоторое время.

Таковы были важнѣйшія событія в ея жизни, это происходило безконечно давно, болѣе полвѣка тому назад. Потом все шло по раз навсегда установленной программѣ — пьесы, покровители, покровители, пьесы. Когда ей было двадцать лѣт, у нея был первый любовник, т. е., первый человѣк, к которому она испытала сильное физическое влеченіе. Но и он вскорѣ умер, свалившись с пятаго этажа лѣстницы в пьяном видѣ — он был по профессіи маляр. Он был единственным человѣком, котораго она любила. Всѣ остальные — с неизмѣнными фразами, всегда напоминавшими ей театральныя реплики, с их смѣшным и жалким изступленіем, и другіе, дѣйствительно замѣчательные люди своего времени, были ей почти безразличны: elle les laissait faire. Среди них были политики, писатели, музыканты, но никто из них не мог даже отдаленно сравниться по привлекательности с погибшим маляром, корсиканцем по національности, звонко хлопавшим ее твердой рукой по голому тѣлу ниже спины и от котораго так пріятно пахло недорогим вином и крѣпким потом крестьянскаго лохматаго тѣла. Но по мѣрѣ того, как шло время, многочисленные журналисты создали совершенно иной облик Лолы, который не имѣл с ней ничего общаго. Она разрѣшала им писать все, что они хотѣли — и вот появлялись ея разговоры

о пластическом искусствѣ, об испанском театрѣ, об итальянской живописи и даже о русской литературѣ, о которой она не имѣла никакого представленія. Так, мало-по-малу, за ней установилась репутація эрудитки — за это она как то упрекала, выпив лишнее, своего стараго знакомаго, спеціалиста по коротким статьям о классическом балетѣ—tu m'as traité d'érudite, tu croyais peut-être que je ne le saurais pas?

И спеціалист по коротким статьям в классическом балетѣ не знал, как это понять, и, в концѣ концов, рѣшил, что это шутка. Годы шли, была все та же жизнь, разсвѣты, позднія вставанія, романы, все тѣ же слова о любви, божественности, экстазѣ, рестораны, вина, диваны — и, несмотря на крѣпчайшій организм, к сорока годам стало пошаливать сердце, начались непонятныя боли в области живота, и знаменитый доктор рекомендовал ей болѣе умѣренный образ жизни. Но когда она спохватилась, было слишком поздно, и послѣднія двадцать лѣт она потратила на борьбу с болѣзнями и старостью. Мало-по-малу дошло до того, что ей было запрещено все, что она любила. Нельзя было ни ѣсть, ни пить, как слѣдует, нельзя было принимать очень горячія ванны, вообще ничего нельзя было. Она примирилась и с этим. У нея давно было нѣкоторое состояніе, она бы могла уѣхать на юг, гдѣ ей принадлежала прекрасная вилла возлѣ Ниццы, но она ни за что не хотѣла оставить сцену, к которой слишком привыкла за пятьдесят лѣт. В самые послѣдніе годы она стала выступать в мюзик - холлѣ и вот теперь, рѣшив открыть собственный театр, но жалѣя на это тратить деньги, обратилась к Сергѣю Сергѣевичу, котораго знала так же, как его знали всѣ. Она об'яснила ему, что это будет с его стороны великодушный жест, за который ему будет благодарна многочисленная парижская аудиторія, но что, в сущности, это будет одновременно и чрезвычайно удачным помѣщеніем денег, так как мюзик - холль сразу же будет давать бѣшеные сборы. Она сказала Сергѣю Сергѣевичу, что у нея есть уже идеи о том, каким должно быть revue, которое могло бы называться

„Ça à Paris" — il y aura des décors somptuex — и она засыпала Сергѣя Сергѣевича цѣлым каскадом слов, неубѣдительных в своей пышной банальности, точно заимствованных из того убогаго языка, которым писались отчеты о премьерах во всѣх газетах. Это был тот самый стиль, которым пользовался еще ея первый покровитель и безконечные образцы котораго она читала потом всю свою жизнь. Туда входили „décors somptueux" „tableaux enlevés à un rythme endiablé„' „le charme étrange de m-lle"..., „la voix chaude et captivante de m-r"... и т. д. Лола не умѣла говорить другими словами, — да никто никогда и не об'яснял ей, что этот язык невыразителен и плох; сама же она этого не подозрѣвала. Сергѣй Сергѣевич внимательно слушал Лолу, говоря иногда — merveilleux, admirable, il fallait le trouver... и думал о том, что если бы Лола была моложе, то она все это устроила бы сразу и не обращалась бы к нему. Теперь ему надо было найти предлог, чтобы уклониться от этого субсидированія, которое было бы безсмысленной потерей денег. Поэтому, как только Лола остановилась, он сказал с задумчивой и убѣдительной интонаціей:

— J'aime beaucoup votre projet, madame. Oui, je l'aime beaucoup. Он остановился на секунду, как бы мысленно представляя себѣ все великолѣпіе этого проекта. — Une salle pleine à craquer et la foule en délire, la même foule qui vous a toujours adorée.

Он еще раз сдѣлал паузу, потом вздохнул и прибавил:

— К сожалѣнію, завтра я уѣзжаю в Лондон на нѣсколько недѣль. Как только я вернусь, я вам телефонирую и повѣрьте, что я был бы счастлив и горд... вы понимаете...

Лола поднялась с кресла разсчитанным быстрым движеніем, от котораго раздался легкій хруст, и по усталому тѣлу пошли, смѣшиваясь друг с другом в одно ощущеніе мути и дури, разнообразныя боли: кололо отсиженную ногу, болѣл геморрой, стучало в правом вискѣ, но на лицѣ ея была все та же „ослѣпительная" улыбка, та самая, которая фигурировала на всѣх фотографіях и казалась удивитель-

ной, потому что должна была бы сводить искусственныя челюсти Лолы, сдѣланныя из добротнѣйшаго матеріала. Она протянула Сергѣю Сергѣевичу дрожащую свою руку с ярко красными ногтями и ушла быстрой походкой, которую были способны во всей мѣрѣ оцѣнить только два человѣка: ея доктор и она сама. По дорогѣ она вспомнила слова Сергѣя Сергѣевича о foule qui l'a toujours adorée и еще раз улыбнулась. Она искренне вѣрила, что ее дѣйствительно обожают, искренне вѣрила в свое сценическое призваніе и это было для нея тѣм единственным, из-за чего стоило так мучиться и жить, потому что все остальное уже умерло. Ради этого она шла на униженія, отказы, ради этого — для иллюзіи своей неувядаемой молодости — она вышла недавно замуж за человѣка,который, при всей своей добросовѣстности, не мог скрыть в нѣкоторыя минуты своего отвращенія к ней — и она дѣлала вид, что этого не замѣчает. Все это дѣлалось ради foule qui l'adore, которой на самом дѣлѣ так же не существовало, как молодости. Но этому Лола никогда бы не повѣрила, потому что в таком случаѣ ей оставалась бы только смерть, которая была еще страшнѣе, чѣм всѣ болѣзни вмѣстѣ взятыя.

Слѣдующим посѣтителем, задержавшим Сергѣя Сергѣевича всего нѣсколько минут, был извѣстный драматург, режиссер и актер в одно и то же время, автор безчисленнаго количества пьес, полный пятидесятилѣтній мужчина, жеманный, как кокетка, безпрестанно мѣнявшій выраженіе лица и интонаціи, чрезвычайно довольный собой и своими успѣхами и настолько убѣжденный в своем превосходствѣ над другими, что от этого даже добродушный. Он был совершенно непроницаем для искусства в том смыслѣ, что все, претендовавшее на подлинный талант, подлинное пониманіе и подлинное вдохновеніе, для него не существовало и не производило на него никакого впечатлѣнія, — настолько это было чуждо ему и далеко от его собственнаго творчества, в котором раз навсегда все было опредѣлено и сводилось к довольно многочисленным и нерѣдко забав-

ным варіаціям одной и той же темы об адюльтерѣ. Иногда, впрочем, его герои затрагивали и общія темы и даже соціальныя; но это всегда бывало так плоско, что он сам говорил, что еще раз убѣдился, что эти сюжеты публику не интересуют. Он пришел сіяющій и счастливый, хотя, в общем, не очень любил Сергѣя Сергѣевича за то, что тот относился к нему без достаточнаго уваженія; но он извинял его — avec sa fortune, il peut se permettre... Он предложил Сергѣю Сергѣевичу билет на бал, который устраивал в пользу недостаточных артистов. Сергѣй Сергѣевич извинился, сказав, что не может быть, так как уѣзжает но, что, конечно, возьмет нѣсколько билетов и предложит знакомым и что, не желая подвергать организатора бала риску неуспѣха, заплатит за них сейчас же. Кромѣ того, он просит принять сумму, которая... — затѣм он написал чек и вручив его и не взяв ни одного билета, пожал руку своего гостя и попрощался с ним.

Послѣдней посѣтительницей была совсѣм юная актерка. Она тоже пришла с личным приглашеніем на премьеру пьесы, в которой она должна была играть главную роль. Она была очень весела и довольна, так как до того, как ѣхать к Сергѣю Сергѣевичу, была у врача, убѣдившаго ее, что сифилис — которым она совсѣм недавно заболѣла, так как только что начинала свою карьеру, — совершенно и безслѣдно излѣчим. Она разсказала Сергѣю Сергѣевичу, что все épatant, что ея коллеги tous de chics types и что она очень довольна. — Alors, mon petit, — сказал Сергѣй Сергѣевич — qu'est-ce que tu veux? Она об'яснила, что телефонныя и письменныя приглашенія,по ея мнѣнію, не дѣйствуют, и что поэтому она рѣшила лично это сдѣлать. — Я тебѣ очень благодарен, я постараюсь придти, — ей он не счел нужным об'яснять, что он уѣзжает.

Лиза и Сережа вернулись только к обѣду. Сергѣй Сергѣевич сказал:

— Ну, дѣти мои, я рад вас видѣть, — а то я уж начи-

нал думать, что я просто импрессаріо. Представьте себѣ, три визита и всѣ артистическіе.

Сергѣй Сергѣевич сразу увидѣл, что с Лизой происходило что-то необыкновенное: она нѣсколько раз засмѣялась, — что ей было несвойственно — глаза ея блестѣли, движенія стали быстрѣе. Но о причинах этого Сергѣй Сергѣевич не спросил. Сережа тоже был возбужден послѣ прогулки, но тут все было понятно, — таким он возвращался всякій раз из Булонскаго лѣса.

— Начинаются от'ѣзды, — сказал Сергѣй Сергѣевич. — Послѣзавтра я должен быть в Лондонѣ. Леля уѣхала сегодня днем.

— Мама уѣхала?

— Леля уѣхала?

Но Сережа спросил голосом, в котором было одновременно удивленіе, огорченіе и неожиданность. Лиза сказала тѣ же слова приблизительно так, как если бы хотѣла сказать: я так и думала; очень мило, хотя, конечно, этого слѣдовало ожидать.

— В Италію? — спросила Лиза. — Почему ты так думаешь? — Ну, я сказала в Италію, как сказала бы в Австралію или в Турцію. — Как странно, Лиза, вѣдь ты угадала: дѣйствительно, в Италію. Я думаю, через недѣлю, мы получим письмо. Нѣт основаній сомнѣваться, что все будет хорошо, как всегда.

— Да, как всегда, — сказала Лиза.

Сережа слышал этот незначительный разговор, который он теперь понимал иначе, чѣм понял бы год тому назад, когда не знал ничего, и за тѣми же самыми словами был теперь иной смысл. Значили они то, что Сергѣй Сергѣевич не хотѣл ни в чем обвинять Ольгу Александровну и заранѣе ей все прощал, а Лиза находила, что поступать так не хорошо и недостойно. Так это понимал Сережа, но это было неправильно.

— А ты, Лиза, как? — сказал Сергѣй Сергѣевич послѣ того, как прошла эта слегка тревожная пауза, вызванная

мыслями об отъѣздѣ Ольги Александровны. — Ты ѣдешь?

— Ѣду, я думаю, — сказала Лиза обычным своим медленным голосом. — Ѣду, я думаю. Я думаю.

— Мы уж знаем, Лиза, что ты думаешь, — терпѣливо сказал Сергѣй Сергѣевич. — Но что именно ты думаешь?

— Мы с Лизой рѣшили ѣхать на юг, — быстро сказал Сережа. — Завтра.

— А меня не приглашаете?

— Ты же в Лондон, — пожав плечами, сказала Лиза.

— Из Лондона тоже люди ѣздят.

— Пріѣзжай из Лондона, — сказала Лиза таким тоном, как если бы хотѣла сказать: что же, с этим придется примириться.

— Ты меня приглашаешь без энтузіазма, мнѣ кажется.

— Милый мой, нельзя всю жизнь с энтузіазмом жить. И тебѣ это должно быть особенно понятно — у тебя вѣдь энтузіазма вообще никогда не было.

— Представь себѣ, был, — как бы сам этому удивляясь, сказал Сергѣй Сергѣевич. — Но, конечно, как ты глубокомысленно говоришь, всю жизнь с энтузіазмом жить нельзя, — устать можно. Да у тебя, конечно, и годы уж не тѣ.

— Оставь в покоѣ мои годы...

— Лиза, — спокойно сказал Сергѣй Сергѣевич, — у тебя портится характер. Замѣтила ли ты, между прочим, что плохой характер и хорошій вкус друг другу противоположны и стремятся к взаимному уничтоженію?

— Замѣтила, — отрывисто и иронически сказала Лиза.

— Но не сдѣлала выводов?

И тогда вдруг Лиза, с расширившимися от бѣженства глазами, тихо сказала, глядя прямо в глаза Сергѣю Сергѣевичу:

— Я больше так жить не могу, ты понимаешь? Все всегда очень мило, всегда шутки, всегда этот всепрощающій ум — и полное отсутствіе страсти, крови, желанія...

— Боже, какіе ты ужасы говоришь, — сказал Сергѣй

Сергѣевич таким же эпическим голосом, каким он разсказывал охотничьи исторіи:„День, как сейчас помню, был облачный, тихій. Собака моя, которую я, представьте себѣ, купил совершенно случайно у крестьянина и которая оказалась"...

— Не могу, не могу, не могу! — закричала Лиза и, поднявшись из-за стола, ушла к себѣ. Сергѣй Сергѣевич и Сережа остались вдвоем. Сергѣй Сергѣевич начал медленно насвистывать серенаду, сам прислушиваясь к точному и чистому свисту; досвистѣл до конца и сказал:

— Там, на югѣ, ты теткѣ посовѣтуй, как можно больше в водѣ сидѣть, это ея нервы успокоит. A part ça, как твои дѣла?

— Ничего, — сказал Сережа. — Сегодня я тренировался на сто метров.

— Какое время?

— 12 с половиной.

— Многовато, — сказал Сергѣй Сергѣевич. — Я думаю, ты теряешь время на стартѣ.

Аркадій Александрович Кузнецов, с которым Ольга Александровна уѣхала в Италію и с которым она познакомилась около года тому назад, был полноватый человѣк сорока семи лѣт, с блеклыми глазами, небольшой лысиной, одѣтый нѣсколько по старинному, носившій трость с набалдашником; лицо у него было желтоватой окраски, была небольшая одышка, медленная походка и неожиданно высокій голос. Он никогда не занимался никаким физическим трудом и никаким спортом; поэтому руки и тѣло у него были мягкія, как у женщины. По профессіи он был писатель — и этому обстоятельству был обязан знакомством с Ольгой Александровной, потому что встрѣтился с ней на литературном вечерѣ, гдѣ поэт средних лѣт с отчаянными глазами на измятом лицѣ читал невиннѣйшіе стихи, в которых главным образом описывалась природа и любовь к землѣ.

Билеты на этот вечер, знаменательный в жизни Ольги Александровны, купил, конечно, Сергѣй Сергѣевич, который за обѣдом сказал ей и Лизѣ:

— Вы бы, дѣвочки, сходили раз в жизни стихи послушать.

И об'яснил, что поэт, котораго им предстояло слушать, был un brave homme, у котораго шесть душ дѣтей и постоянно беременная жена, и что жилось ему туго. Все это было так неожиданно, что Ольга Александровна и Лиза рѣшили поѣхать на этот вечер. Поэт читал стихи, чрезвычайно похожіе одни на другіе и настолько очевидно безполезные, что слушателям становилось нѣсколько неловко. К этому же, у поэта был довольно замѣтный провансальскій акцент. Но кончив свое третье стихотвореніе, он посмотрѣл на аудиторію и вдруг улыбнулся такой откровенной и наивной улыбкой, безсознательно очаровательной, что всѣм стало ясно, что стихи, это, конечно, неважно, а важно то, что это, дѣйствительно, милѣйшій и простодушный человѣк; и что, навѣрное, он очень любит дѣтей, — и все это было в этой удивительной улыбкѣ.

— Ах, какая прелесть! — сказала Ольга Александровна по-русски.

И тогда человѣк, сидѣвшій с ней рядом, повернул к ней желтовато - блѣдное лицо с блеклыми, смѣющимися глазами и сказал:

— Дѣйствительно.

Во время перерыва этот человѣк обратился к Ольгѣ Александровнѣ с извиненіями по поводу реплики, которую позволил себѣ сдѣлать и назвал себя; Ольга Александровна никогда не слышала его имени, но Лиза читала его книги, и разговор перешел на литературу. Потом он пригласил их в кафэ, был очень мил, любезен и скромен, и на слѣдующій литературный вечер Ольга Александровна пошла уже с твердым намѣреніем его встрѣтить. Такое же намѣреніе руководило и Аркадіем Александровичем; и еще через нѣкоторое время знакомство стало принимать

тѣ угрожающія и привычныя формы, внѣ которых жизнь Ольги Александровны каким-то роковым образом не могла протекать. Когда Лиза спросила Сергѣя Сергѣевича, знает ли он фамилію Кузнецова, Сергѣй Сергѣевич сказал, что знает и, на вопрос о том, что он, по его мнѣнію, из себя представляет, сказал с обычной своей улыбкой:

— Графоман.

И потом он со всегдашним своим благодушіем заговорил о литературѣ и писателях, которых — всѣх без исключенія — считал очаровательными людьми, но, конечно, ненормальными и ошибающимися. Ошибались же они чаще всего в своем призваніи; по мнѣнію Сергѣя Сергѣевича, большинству из них совершенно не слѣдовало писать.

— Что ты называешь большинством?

— Термин, конечно, уклончивый, Лизочка. На этот раз я могу уточнить: девяносто процентов.

— Строг ты, Сергѣй Сергѣевич.

— Почему же строг? Я им деньги даю.

— Ну, деньги ты всѣм даешь.

— Не всѣм, к счастью. Но многим, это вѣрно.

— Нѣт, а уваженіе к писателю?

— Ну, Лиза, не капризничай, — тебѣ уже и уваженіе нужно. Ты, может быть, дневник пишешь? Тогда я тебѣ изложу другую точку зрѣнія на литературу, совершенно восторженную, чтобы тебѣ доставить удовольствіе. А так, — ну за что я их буду уважать? Вот этот твой Кузнецов, он, знаешь, такія печальныя книги пишет, и все есть тлѣн, дескать, и суета, а сам он такой интересный и умный, и все это прекрасно понимает. А герои у него всѣ говорят одним и тѣм же интеллигентски - адвокатским языком, которым живые люди вообще не говорят, Лизочка, а только присяжные повѣренные и фармацевты. И всѣ эти герои — от конюха до генерала говорят одно и то же.

— Что же, ты отрицаешь законность пессимизма?

— Нѣт, не отрицаю, но важны причины, которыя. У че-

ловѣка, скажем, хроническій ревматизм или почки, или печень, — вот тебѣ и пессимизм.

— Меня удивляет, Сережа, такое грубое физіологическое об'ясненіе.

— Да вѣдь это же не так просто, это проходит через множество градацій; только я их пропускаю. Или, вот, скажем, он импотент.

— Ну, этого я не думаю.

— Нѣт, вѣдь это только предположеніе. А вообще, он милѣйшій человѣк, я его знаю, видѣл нѣсколько раз, немножко меланхолическій, немножко мягкій, а в общем очаровательный. Может быть, ему деньги нужны? Почему ты вообще о нем заговорила?

— Мы с ним познакомились на литературном вечерѣ.

— А! Ну и что же?

— Он, кажется, нам понравился — сказала Лиза, уходя из комнаты. И вдогонку неторопливый голос Сергѣя Сергѣевича, в котором слышалась на этот раз настоящая улыбка, сказал:

— Тебя послушать, Лизочка, ты просто святая.

Больше разговор об Аркадіи Александровичѣ не возбуждался. Только однажды за столом Сергѣй Сергѣевич сказал вскользь, что читал книгу Аркадія Александровича „Послѣдній перегон" и что находит ее замѣчательной — „такой ум, такое пониманіе"; он сказал это с простодушным и довѣрчивым убѣжденіем, и Ольга Александровна посмотрѣла на него благодарными глазами, и только Лиза, не поднимая головы, — она ѣла артишок, — проговорила: — какой актер в вас погибает, Сергѣй Сергѣевич!

Между тѣм, отношенія Ольги Александровны и Аркадія Александровича начинали принимать уже совершенно непоправимый характер. Ольга Александровна прочла всѣ его книги; читая их ей казалось, что она слышит интонаціи его трогательно высокаго,дѣтскаго голоса, и всѣ многочисленныя страданія его героев, вызванныя разнообразнѣйшими причинами, заставляли Ольгу Александровну возвра-

щаться к одной и той же мысли, которую она как-то высказала сестрѣ, сказав, что, только прочтя эти книги, понимаешь, сколько должен был страдать этот человѣк, чтобы написать это. Книги Аркадія Александровича были дѣйствительно чудесны; то неопредѣлимое и прекрасное, что было в них, все росло и шумѣло и никогда не кончалось, все было умно, нѣжно и печально, — и только никто, кромѣ Ольги Александровны, не умѣл этого видѣть. Ольга Александровна начала заботиться о его костюмах, о том, чтобы он надѣвал теплое пальто, потому что стояла холодная погода, чтобы он не простудился, чтобы он пошел к доктору. И Аркадій Александрович, в свою очередь, влюбился на сорок восьмом году, в первый раз в своей жизни. Выяснилось это однажды утром, когда его жена, усталая женщина с безжалостно крашенными волосами, услышала, что он пѣл. Она так изумилась, что вышла из спальни в пижамѣ и прошла в ванную, гдѣ увидѣла Аркадія Александровича, голаго до пояса, увидѣла это ненавистное, бѣлое и дряблое тѣло и — в зеркалѣ — неожиданно веселые глаза. — Ты с ума сошел? — Аркадій Александрович, продолжая напѣвать, не обращал на нее вниманія. Наконец, когда она повторила свой вопрос, он обернулся к ней, засмѣялся и сказал:

— Не старайся понять того, что ты не в состояніи понять.

— Я в состояніи понять, что ты стар и глуп.

— Ограничься этим и оставь меня в покоѣ.

И тогда она вспомнила еще нѣсколько вещей, на которыя не обращала вниманія до сих пор, и, сопоставив все это, пришла к убѣжденію, что произошла в жизни ея мужа какая-то ускользнувшая от нея, но очевидная и значительная перемѣна. Во-первых, он не просил больше денег. Во-вторых, он перестал жаловаться на судьбу. В-третьих, он как-то был на концертѣ Крейслера. Цѣлый ряд поразительных вещей вошел в его жизнь и измѣнил все. Людмилѣ обычно было некогда думать об этом. Ея собственная

жизнь была слишком сложна, чтобы она могла останавливаться еще на этом.

Людмила была женщиной исключительной. За много лѣт совмѣстной с ней жизни, Аркадій Александрович не заработал почти ничего, все было сдѣлано ея заботами. Вмѣстѣ с тѣм была приличная квартира, обстановка, все и всегда было заплачено, и она, и Аркадій Александрович жили совершенно благополучно и обезпеченно. Мужа своего она презирала до глубины души, но сохраняла, как нѣкую юридическую фикцію, которая входила в ея бюджет так же, как газ, электричество или телефон. В ея дѣлах она часто пользовалась его именем, о чем он чаще всего не знал. Он не знал также, что в ея разсказах он неизмѣнно фигурировал, как тиран и деспот и человѣк болѣзненно ревнивый, от котораго она была вынуждена скрывать рѣшительно все. А скрывать ей было что. Послѣднее по времени дѣло, исключительное по удачности осуществленія, заключалось в том, что от своего поклонника она получила десять тысяч на похороны единственнаго ребенка, очаровательной восьмилѣтней дѣвочки, о болѣзни и смерти которой она разсказывала страшныя подробности; и настоящія слезы стояли в ея синих глазах. Поклонник ея, немолодой человѣк, сам отец семейства, не мог в свою очередь удержаться от слез, слушая ея разсказ, чудовищный по своей простотѣ и убѣдительности. Она умоляла его не звонить ей недѣлю, дать ей время похоронить свою дочь, послѣ которой на свѣтѣ у нея оставалось одно утѣшеніе — его любовь, — и потом она сама позвонит ему или напишет. И она уѣхала, крѣпко сжимая сумку с деньгами, полученными путем такого труда; и только в автомобилѣ стала медленно отходить и лицо ея постепенно принимало свой всегдашній характер, трудно передаваемый; холодность, нѣкоторая душевная усталость и только в глазах нѣчто в родѣ намека на какія-то обѣщанія. Это был своеобразный тип очарованія, не лишенный привлекательности, особенно для немолодых уже людей. Людмила могла нра-

виться или не нравиться, ея замыслы могли не удасться, если она не нравилась; но если она нравилась, она добивалась своей цѣли; у нея было то, что она сама называла мертвой хваткой. Была еще и недюжинная изобрѣтательность, — которая проявилась, напримѣр, в дѣлѣ о похоронах дочери; у нея никогда не было дѣтей; но если бы они были, то они могли бы с чистой совѣстью болѣть и умирать, так как на тѣ деньги, которыя она получила на их лѣченіе и похороны, можно было лѣчить и умертвить цѣлую семью.

У нея были туберкулезные братья — в послѣднем градусѣ чахотки — в швейцарских санаторіях, откуда они должны были уйти, так как было нечѣм платить; были многочисленные родители, хронически голодавшіе в Россіи, сестры, разбитыя параличем и навѣки осужденныя не вставать с постели; были векселя, подписанные в жестоких обстоятельствах и пред'явленные к взысканію, потому что она, Людмила, в отвѣт на наглое предложеніе кредитора, не удержалась и дала ему пощечину и потом безсильно рыдала у себя дома в квартирѣ, за которую тоже, давно не плачено. Вмѣстѣ с тѣм, она отличалась нѣмецкой аккуратностью и своеобразной щепетильностью в денежных отношеніях, уплачивая все до копѣйки и совершая это, как нѣкій искупительный подвиг, и с презрѣніем относилась к людям нечестным или не платящим долги. В ея жизни была только одна слѣпая и безжалостная страсть, ради которой она была готова забыть обо всем остальном, — эта страсть была музыка. Она сама была отличной піанисткой, и вечерами, одна в своей квартирѣ, она играла, охваченная холодным и самозабвенным сладострастьем, Баха, Бетховена, Шумана. И только в эти часы, далекая от всего остального, одна, в этом призрачном и наростающем полифоническом мірѣ, она чувствовала себя по настоящему счастливой. Потом она прекращала игру и останавливалась, неподвижно глядя в черное зеркало рояля; и умолкнувшія мелодіи продолжали беззвучно гремѣть, вызывая цѣлый ряд сожалѣній, предчувствій и напоминаній о том,

чего никогда не было. Она походила тогда на человѣка, содрогающагося от пониманія того, что его жизнь загублена, или на женщину, над которой разразилась страшнѣйшая катастрофа. Потом она ложилась в холодную постель с туго натянутыми синевато бѣлыми простынями, выкуривала нѣсколько папирос и, одурманенная, засыпала, с тѣм, чтобы на слѣдующее утро вновь приниматься за прежнее. Она не знала ни привязанностей, ни любви, ни сожалѣнія; и Аркадій Александрович, когда, примѣрно, раз в мѣсяц, по утрам и непремѣнно в пижамѣ, она устраивала ему сцены за то, что он повѣсил пальто не туда, куда нужно, или бросил непотушенный окурок в корзину с бумагой, — испуганно смотрѣл на ея растрепанные волосы, блѣдныя губы, тряс головой и предпочитал не задумываться над тѣм, как было возможно, что существовала такая чудовищная и неправдоподобная жизнь.

И точно так же, как Людмила была лишена любви и сожалѣнія, так же Аркадій Александрович был лишен самолюбія и нравственности. Он прекрасно понимал и знал, что это такое, и конфликты его героев имѣли чаще всего этическія основанія; но этому пониманію не соотвѣтствовали никакія его личныя чувства. Он не был активно дурным человѣком и не совершил бы нечестнаго поступка по отношенію к ближнему; у него только совершенно не было ни мужества, ни воли к независимости. Теоретически он понимал, что не хорошо жить на деньги презиравшей его женщины, которая, вдобавок, зарабатывала их таким неблаговидным образом, но как можно было поступить иначе? Он не мог даже представить себѣ, что он вдруг станет рабочим или служащим, уѣдет из прекрасной и теплой квартиры и будет жить в холодной комнатѣ дешевой гостиницы и вставать в семь часов утра, — это было настолько ужасно, что нужно было мириться с чѣм угодно, чтобы избѣжать этого. И это нужно было дѣлать ради этих самых моральных положеній, которыя годились только для литературы, но для которых в жизни не было мѣста; иначе было бы

слишком тяжело и неудобно жить. И когда люди, угощавшіе его прекрасным обѣдом и предлагавшіе взаймы необходимые сто или двѣсти франков, дурно отзывались о его друзьях, он не защищал их, потому что защита значила бы, что больше не будет ни обѣда, ни денег. Он даже не думал обо всем этом. Это выходило само собой, настолько это было очевидно. Раньше, когда он был молод и начинал свою литературную карьеру, он считал, что все надо измѣнить — и жизнь, и искусство, — и не стыдился произносить эти слова; потом почувствовал, что говорить так, — искусство, жизнь — просто неловко в том обществѣ, в котором он вращался — почтенных людей, богатых коммерсантов с душой мецената, но не меценатов, как бывают люди с душой студента, но не студенты, извѣстных политическихъ дѣятелей или писателей, — словом всѣх, чье болѣе или менѣе прочное, закрѣпившееся положеніе не терпѣло ни желанія, ни необходимости, ни чаще всего способности к отвлеченному мышленію или к сопоставленію различных концепцій искусства. Мало-по-малу и он становился похожим на них; но, как всѣ ограниченные люди, не замѣчал этого, как не замѣтил своей ошибки, и стал думать, что молодежь ничего не понимает и заблуждается. В литературѣ он сразу усвоил себѣ один и тот же, раз навсегда взятый тон — нѣсколько усталаго скептицизма и постояннаго, безпроигрышнаго эффекта — все тлѣнно, все преходяще, все неважно и суетно. И так как это не требовало никакого усилія мысли, то все писалось легко и просто, и от этого автоматическаго разворачиванія заранѣе придуманных положеній Аркадій Александрович испытывал настоящее удовольствіе, почти что радость, хотя судьбы его героев бывали обычно печальны. Однако, литературнаго успѣха у него не было. И этому были десятки готовых и вполнѣ приличных об'ясненій; но главная причина, о которой Аркадій Александрович никогда не думал, заключалась в том, что он не был способен испытать, или понять, ни соблазна преступленія, ни разврата, ни сильной страсти, ни стремле-

нія к убійству, ни мести, ни непреодолимаго желанія, ни изнурительнаго физическаго усилія.Он был полным и мягким человѣком, мирно прожившим свою жизнь в довольно пріятной квартирѣ, и ни разу его чувства не подвергались жестоким испытаніям смертельной опасности, голода или войны — все шло в культурных полутонах и оттого все получалось, в сущности, неубѣдительно.

В жизни его было нѣсколько женщин. Людмила была его третьей женой. Но он никогда не чувствовал себя способным ради женской любви пожертвовать чѣм нибудь, а онѣ именно этого и требовали даже в тѣх случаях, когда это было совершенно ненужно. Он разставался с ними без сожалѣнія. Но и ему была нужна своя романтическая легенда — и он создал ее; он говорил, что был счастлив с женщиной которая... и тут он произносил цѣлую рѣчь, сам испытывая от этого нѣкоторое печальное удовольствіе; эта женщина была его первой женой, и ея портрет висѣл у него над диваном: на портретѣ была изображена худенькая брюнетка монашескаго типа, и портрет вообще был стилизован под нѣчто среднее между прелестью и цѣломудріем; рядом с этим портретом была другая фотографія, почти такого же размѣра, на которой был снят сам Аркадій Александрович в бѣлом костюмѣ, с букетом цвѣтов в одной рукѣ и с панамой в другой — на кладбищѣ, у могилы своей жены. По разсказу Аркадія Александровича, который он повторял много раз и которому сам начинал не на шутку вѣрить, все выходило романтично и прекрасно до нельзя. Он познакомился с ней на концертѣ, они долго говорили о музыкѣ, о литературѣ, об искусствѣ, вообще; она не знала ничего о грубости той жизни, которая его окружала, как ничего не понимала в деньгах; она была создана для искусства и для единственной и неповторимой любви. Но окружавшіе ее люди не были способны понять ея очарованія. Она пришла однажды к Аркадію Александровичу, принесла цвѣты и была вся такая хрупкая и нѣжная в своем весеннем туалетѣ. И тогда она сказала ему, что вся ея

жизнь принадлежит Аркадію Александровичу. И он отвѣтил ей: дитя мое, если бы я считал себя способным создать ваше счастье... — Только вы способны это сдѣлать — торопливо отвѣтила она. Но он взял ея руки, поцѣловал их и сказал, что она слишком молода — сам он был старше ея на пять лѣт — и что ей нужно еще подумать, прежде чѣм рѣшаться на такой шаг. Ему казалось, что хрупкое ея очарованіе не вынесет соприкосновенія с дѣйствительностью брака, с неизбѣжной прозаичностью ежедневнаго совмѣстнаго пребыванія с человѣком, который, быть может, недостоин ея. Но, в концѣ концов, он сказал себѣ, что счастье рѣдчайшая вещь в мірѣ и что надо имѣть мужество не отступить перед ним. И он женился. Ея блѣдное лицо, ея бѣлое платье и воздушная фата в высокой церкви — он видѣл это как сейчас. Три года их жизни прошли — он просил прощенія за тривіальное сравненіе — как многогранный и смѣщающійся сон. Он знал, что это счастье не может быть продолжительным; она заболѣла дифтеритом и в нѣсколько дней умерла. Послѣ ея смерти, он вошел в свой кабинет, вынул браунинг, приложил его к виску и нажал гашетку. Раздался сухой треск, но выстрѣла не послѣдовало. Он понял тогда, что это она вынула патроны из обоймы; стало быть, она хотѣла, чтобы он остался жить — быть может для того, чтобы на этой землѣ не умирало то сожалѣніе, которое осталось единственным слѣдом ея кратковременнаго пребыванія здѣсь и того ослѣпительнаго счастья, которое она дала ему. Он говорил о том, как шумѣли печальныя деревья на кладбищѣ и как никогда он не забудет мелодію этого шума, послѣднюю мелодію, провожавшую ее в тот мір, в который он готов повѣрить со всей силой убѣжденія только ради мысли о ней. Послѣ этого он дѣлал небольшую паузу и прибавлял:

— Но не будем говорить об этом. Это слишком тяжело для меня, и я не хотѣл бы, что бы эта чужая печаль передалась вам.

Таков был разсказ Аркадія Александровича о его пер-

вой женѣ, вѣрнѣе та легенда, которую он создал и которая ни в какой степени не походила на подлинную исторію его женитьбы. В легендѣ, напримѣр, совершенно отсутствовало какое бы то ни было упоминаніе о приданом; а, вмѣстѣ с тѣм, именно это неупоминавшееся приданое явилось одновременно и причиной ухаживанія Аркадія Александровича, и рѣшившим все фактором. На концертѣ Аркадій Александрович не был, потому что билеты стоили слишком дорого, а встрѣтился со своей первой женой у знакомых. Колебанія перед браком дѣйствительно были, но вызывались они совершенно иными причинами, чѣм тѣ, которыя так выгодно оттѣняли великодушіе и жертвенность Аркадія Александровича в его разсказѣ, и об'яснялись тѣм, что, во-первых, барышня была совершенно неувѣрена, что любит его, во-вторых — и главным образом — тѣм, что она не достигла еще совершеннолѣтія и не могла распоряжаться капиталом — около ста тысяч рублей, который ей принадлежал и который и составлял ея приданое. Но совершеннолѣтія она достигла через нѣсколько мѣсяцев и тогда уже ничто не могло препятствовать браку. Аркадій Александрович, дѣйствительно, впервые в жизни, проявил рѣдкое упорство в достиженіи своей цѣли. Будущая теща его, лютая и скупая старуха, стремившаяся во что бы то ни стало выдать дочь за богатаго человѣка, ненавидѣла Аркадія Александровича всѣми силами. Он терпѣливо сносил все и для оправданія своей снисходительности придумал теорію, извинявшую поведеніе старухи и ея нервность, которыя об'яснялись тѣм, что она много страдала, — что было неправильно: старуха не знала никаких страданій и прожила благополучнѣйшую жизнь; ей было только невыносимо жаль ста тысяч своей дочери. Дочь ея, подвергавшаяся с одной стороны бурным увѣщеваніям старухи, с другой — тихим уговариваніям Аркадія Александровича, долго колебалась, пока, наконец, Аркадій Александрович не одержал верха, — и тогда и произошла эта свадьба. Единственное, что в извѣстной степени было вѣрно в легендѣ Аркадія

Александровича, это, что жена его не знала цѣны деньгам — и онѣ цѣликом перешли в его распоряженіе, — и безсильная теперь старуха исчезла, как призрак. Но жена Аркадія Александровича никогда его не любила — и этому можно было бы привести множество доказательств, — и каждый из них вел свою собственную жизнь; но так как характеры обоих были лишены бурности, то, дѣйствительно, все протекало мирно, хотя и скучновато. Умерла она от неудачной операціи, офиціально называвшейся апендицитом. Патронов из револьвера она тоже не вынимала, потому что револьвера у Аркадія Александровича вообще не было, — и, наконец, деревья совершенно не шумѣли в день ея похорон, потому что было начало марта и листьев на них еще не было.

Как это ни казалось странным на первый взгляд, эта легенда Аркадія Александровича имѣла у его поклонниц неизмѣнный успѣх. Послѣ нѣкоторой діалектической подготовки выходило, что вывод напрашивался сам собой; в жизни Аркадія Александровича образовалась непоправимая в нѣкотором смыслѣ пустота и, конечно, эту пустоту могла заполнить другая женщина, тоже почти такая же — нѣсколько не от міра сего, романтическая, не думающая о деньгах, — и такими считали себя рѣшительно всѣ. Только Людмилѣ Аркадій Александрович никогда не разсказывал этой легенды. Но Ольгѣ Александровнѣ он, конечно, ее разсказал и даже сообщил программу концерта.

Для Ольги Александровны Аркадій Александрович был совершенно новым человѣком, — она никогда до сих пор не знала таких людей. Во-первых, он был менѣе примитивен, чѣм всѣ предыдущіе; во-вторых, ей в нем понравилась мягкость и нѣкоторая беззащитность; этот человѣк не умѣл требовать, не умѣл устраиваться, не имѣл мужества сказать обожавшей его женѣ, что он ее больше не любит, — так как он знал, что этого удара она не вынесет. — Но скажите ей это, вѣдь рано или поздно она должна это уз-

нать... — Вы не знаете ея, — отвѣтил Аркадій Александрович, — бѣдная Людмила!

Поѣздка в Италію была придумана, конечно, Ольгой Александровной. Она должна была встрѣтиться с Аркадіем Александровичем в Ниццѣ, в гостиницѣ на Avenue Victor-Hugo. Оттуда они поѣдут через Ментону, Бордигеро, Сан Ремо и Геную — вглубь Италіи. Проще было, конечно, вмѣстѣ уѣзжать из Парижа, но Ольгѣ Александровнѣ непремѣнно хотѣлось придать этой поѣздкѣ подготовленный характер неожиданности и счастливой случайности. Одна, она ѣдет в Ниццу; в окнѣ вагона движется море, бѣгут километры — и вот вокзал, автомобиль, Avenue Victor-Hugo, — и в холлѣ гостиницы, наконец, неторопливая фигура, такая уютная, мягкая и родная. Ольга Александровна не понимала теперь, как можно любить человѣка, если у него широкія плечи, твердыя руки и чудовищно двигающіеся мускулы под смуглой кожей; плечи должны были быть немного покатыя, кожа трогательно бѣлая, руки нѣжныя и мягкія. Но вначалѣ Аркадій Александрович категорически отказался от поѣздки, и он об'яснил Ольгѣ Александровнѣ, что, к сожалѣнію, это невозможно, потому что у него нѣт денег. — Глупый, — сказала она потрепав его по щекѣ, которая прыгала и двигалась под ея рукой, — совсѣм глупый, как мальчик! И хотя он продолжал протестовать и отказываться, кончилось это тѣм, что двумя днями раньше Ольги Александровны он уѣхал с Ліонскаго вокзала первым классом, оставив записку Людмилѣ, что уѣзжает мѣсяца на два и напишет ей; Людмилы третьи сутки не было дома.

Был іюль мѣсяц; Аркадій Александрович и Ольга Александровна проѣздом остановились в Ментонѣ, и им все казалось здѣсь так прекрасно, что дальше ѣхать не стоит; к тому же времени было много — цѣлая жизнь впереди. Несмотря на то, что Аркадій Александрович был уже совсѣм не молод, грузен и болен, несмотря на то, что он давно перестал вѣрить во что бы то ни стало, кромѣ уюта и хоро-

шей квартиры, несмотря на то, что любовь его обычно утомляла, а длинные разговоры об одном и том же раздражали, — несмотря на все это, он почувствовал в первый раз за всю жизнь, что теперь отдал бы все, пожертвовав даже хорошей квартирой, за возможность пребыванія с Ольгой Александровной. Это было высшее, на что он был способен. Иногда, послѣ обѣда, он садился писать книгу, которая называлась "Весенняя Симфонія" и в которой он непривычными словами описывал любовь двух молодых людей; причем в этой книги не было ни тлѣна, ни увяданія, ни праха, а описывались вещи положительныя и лирическія; и это было бы неловко читать, как неловко было бы смотрѣть на старую и толстую женщину в легком газовом платьѣ, которая бы прыгала по сценѣ, изображая юную сильфиду. Аркадій Александрович был слишком усталым человѣком для того, чтобы внѣшнее такое его перерожденіе было прилично. Но, главное, он находил, что только теперь понял, что такое счастье, и только теперь почувствовал, как надо писать, и Ольга Александровна, которой он читал свои странно неумѣлыя страницы, была с ним совершенно согласна.

По утрам они ходили купаться вдвоем; но неудобство этого заключалось в том, что Ольга Александровна прекрасно плавала, а Аркадій Александрович плавать не умѣл. Стоя по горло в водѣ, он разводил руками, глубоко вздыхал и покачивался на мѣстѣ, точно набираясь сил, чтобы поплыть, но никуда не двигался и продолжал так стоять и покачиваться. Когда Ольга Александровна оказывалась рядом с ним, он говорил:

— Как обидно, в сущности, что природа обошла человѣка, не дав ему способности летать, не дав ему способности плавать! Я бы поплыл сейчас далеко-далеко!—И Ольга Александровна, которая смѣялась бы, если бы это сказал другой человѣк, как она смѣялась бы над его неловкими движеніями и неувѣренностью в водѣ, умилялась его пове-

денію и вмѣстѣ с ним жалѣла, что человѣк обижен природой.

Послѣ от'ѣзда Лизы и Сережи Сергѣй Сергѣевич остался в Парижѣ один. Ольга Александровна должна была находиться в Италіи, писем от нея еще не было и возвращенія ея раньше, чѣм через двѣ недѣли, Сергѣй Сергѣевич не ждал.

В жизни его наступил один из рѣдких періодов, когда он сказывался почти совершенно свободен; не было ни поѣздок, ни срочных обязательств, ни просителей, и все это безпрерывное движеніе вокруг него на нѣкоторое время стихало. Он не измѣнял обычнаго образа жизни, попрежнему рано вставал, попрежнему всегда был аккуратен, чист и готов, и попрежнему имѣл такой вид, точно только что вышел из ванной. Но в такіе дни он много читал и на это, главным образом, уходили его досуги. Чрезвычайно рѣдко, однако, он прочитывал книгу до конца; чаще же всего, он ограничивался первыми страницами. Иногда он брал тѣ романы, которые хвалила Ольга Александровна, но прочитав нѣсколько строк, аккуратно клал их на мѣсто. Книги Лизы были болѣе интересны, но любимым ея автором был Достоевскій, котораго Сергѣй Сергѣевич никогда не мог читать без сдержаннаго раздраженія и усмѣшки. Зато Сережино чтеніе всегда вызывало в нем улыбку, это был либо Платон, либо Кант, либо Шопенгауэр. Кончалось все это обычно тѣм, что Сергѣй Сергѣевич брал с полки Диккенса или Голсуорси и в десятый раз принимался за Оливера Твиста или хронику Егорсайтов.

На второй день его отдыха, когда всѣм было извѣстно, что он в Лондонѣ — в то время, как он почти не выходил из дому, — ему позвонил его старый товарищ с давних, еще московских времен, нѣкій Слетов, который сказал, что ему необходимо повидать Сергѣя Сергѣевича по очень важному дѣлу, и, хотя Сергѣй Сергѣевич отлично

знал, что это за дѣло, он отвѣтил, что будет рад его видѣть. Через полчаса Слетов явился.

— Здравствуй, Федор Борисович, — сказал Сергѣй Сергѣевич, — за такси ты заплатил?

Федор Борисович Слетов был высокій человѣк, чрезвычайно небрежно одѣтый, с помятым и желтым лицом, на котором казались удивительными восторженные голубые глаза. Ему было столько же лѣт, сколько Сергѣю Сергѣевичу, но выглядѣл он значительно старше своего возраста.

— Представь себѣ, Сережа, не хватило пустяка, ты понимаешь... — быстро заговорил он, — да, вѣдь ты еще не знаешь, все кончено, все, понимаешь?" — он сдѣлал рѣшительный жест рукой, словно отсѣкая нѣчто незримое. Говорил он очень скоро, чуть ли не задыхаясь от торопливости и волненія. — Я не спал послѣдніе трое суток. Все, ты понимаешь, все. И кто бы мог подумать, — сказал он, рѣзко замедлив свою рѣчь и начиная говорить плавно и с размѣренной горечью, — что она, Лили, окажется просто...

Он не кончил фразы и покачал головой.

— Женщиной, недостойной твоей любви? — спросил Сергѣй Сергѣевич.

— Сомнѣнія невозможны — тихо отвѣтил Слетов. — Письма, доказательства...

— Ты неисправим, Федя.

— Да, да, знаю, заранѣе знаю... Но вы всѣ, и ты в том числѣ — ничего не понимаете.

— Да тут не Бог вѣсть какая мудрость, Федя.

— Нѣт, мудрость! — закричал Слетов. — Ты говоришь, что это все случайныя женщины, что смѣшно полагать, будто Лили или Женя или Оля окажутся вдруг добродѣтельным ангелом, да? Так вот, милый мой, повѣрь мнѣ, что нѣт двух одинаковых женщин в мірѣ, понимаешь? Онѣ всѣ разныя, всѣ.

— Возможно. Дѣйствуют онѣ, однако, всѣ приблизительно одинаково.

— Нѣт, разно.

— То есть, нѣкоторыя детали, возможно, и непохожи, — сказал Сергѣй Сергѣевич, — и все-таки каждый раз ты пріѣзжаешь совершенно так же, как сегодня, и даже та трогательная подробность, что у тебя нѣт денег на такси, остается неизмѣнной. И каждый раз у тебя доказательства и письма.

— Ты знаешь, что такое творческое начало в жизни?

— Причем тут творческое начало?

— Я тебѣ об'ясню. Вот я полюбил женщину, которая...

— Ты обѣдал? — спросил Сергѣй Сергѣевич.

Было около восьми часов, Сергѣй Сергѣевич никого не мог ждать в это время. Вдруг в передней раздался рѣзкій и продолжительный звонок.

— Вот, Федя, кто бы это мог быть, судя по звонку, как ты думаешь? Мужчина или женщина?

— Женщина с настойчивой волей.

— А я бы сказал, что мужчина и еще, вдобавок, нахал.

Горничная передала Сергѣю Сергѣевичу карточку, на которой было написано: Людмила Николаевна Кузнецова и от руки, хорошо очиненным карандашом, было прибавлено: по очень важному личному дѣлу.

— Знаешь, Федя, — сказал Сергѣй Сергѣевич, — ты бы пошел, принял ванну, побрился, привел бы себя в порядок; а я тѣм временем ее все-таки приму.

— Вот теперь я начал чувствовать голод, — сказал Слетов.

— Иди, иди, я тебя накормлю. Просите, — сказал он горничной.

Людмила вошла своей увѣренной походкой, сказала дѣловитым голосом — здравствуйте, — сѣла и тотчас закурила папиросу.

— Я могу вам быть чѣм нибудь полезен? — спросил Сергѣй Сергѣевич.

— Я думаю — холодно сказала Людмила, — во всяком случаѣ, я надѣюсь.

— Если бы вы были добры сказать мнѣ, чѣм именно я обязан удовольствію вас видѣть...

— Вы должны это знать так же хорошо, как я.

— Видите - ли что — сказал Сергѣй Сергѣевич, удобнѣе устраиваясь в креслѣ и точно готовясь произнести рѣчь, — я имѣю несчастье — или счастье — быть сравнительно обезпеченным человѣком и это отражается самым пагубным образом на характерѣ визитов, которые мнѣ дѣлают разные люди и цѣли которых, в общем, отличаются, я бы сказал, нѣкоторой монотонностью. Я бы сказал, что девяносто девять процентов этих визитов имѣют одно и совершенно недвусмысленное значеніе. В тѣх же случаях, когда визит дѣлает женщина, то девяносто девять процентов можно замѣнить цифрой сто, нисколько не рискуя ошибиться. Другими словами, я хочу поблагодарить вас за очаровательное вниманіе, с которым вы выслушали все, что я говорил, и прибавить, что по поводу вашего посѣщенія у меня не было с самаго начала никаких иллюзій.

— Вы всегда так разговариваете?

— Нѣт.

— Вы знаете, что ваша жена уѣхала, но не знаете с кѣм.

— Видите ли что, — сказал Сергѣй Сергѣевич. Он сдѣлал вид, что задумался, посмотрѣл сначала на потолок, потом в лицо Людмилы и медленно сказал:

— Я отрицательно отношусь к извѣстной категоріи шантажистов, точнѣе говоря, тѣм из них, которые пользуются именем моей жены. Попытки таких людей обречены на неуспѣх.

— Мнѣ нѣт никакого дѣла до шантажистов, — нетерпѣливо сказала Людмила. — Я знаю, что ваша жена — любовница моего мужа, что он уѣхал с ней...

— Извините, я прерву вас, — сказал Сергѣй Сергѣевич. — Я полагаю, что иногда слѣдует избѣгать слишком точных выраженій.

— Я не привыкла к таким комедіям. Если для вас инте-

ресы вашей жены играют какую нибудь роль, вы обязаны проявить по отношенію к ней...

— Видите ли, — продолжал, не сдерживая улыбки, Сергѣй Сергѣевич, — возможно, конечно, что это результат заблужденія, но я считаю, что хорошо знаю свои обязанности.

— Выслушаете вы меня или нѣт? — закричала Людмила.

— Нѣт, я не вижу в этом никакой необходимости.

— В таком случаѣ, — рѣзко сказала Людмила, поднимаясь, — вы еще услышите обо мнѣ.

— Как, еще услышу? — сказал Сергѣй Сергѣевич. — Мнѣ казалось, что я слышал о вас совершенно достаточно.

Потом он прибавил задумчивым голосом:

— Кстати, я думал, что вы работаете менѣе кустарно.

Людмила, поднявшаяся было с кресла, вдруг сразу упала в него, выронив сумку, закрыла лицо руками и заплакала. Плечи ея тряслись от рыданій.

— По-французски это называется les grands moyens, — сказал Сергѣй Сергѣевич. — Но быстрота перемѣны тактики заслуживает похвалы.

— Вы чудовище, — фыркающим от слез голосом сказала Людмила. — Вам безразлично, что мнѣ завтра, может быть, нечего ѣсть.

— Мнѣ очень нравится это „может быть".

— Вы мнѣ не вѣрите?

— Слушайте, Людмила Николаевна, — терпѣливо сказал Сергѣй Сергѣевич, — мнѣ бы не хотѣлось, чтобы вы упорствовали в ваших заблужденіях на мой счет. Я знаю о вас все и прекрасно знаю, на какія деньги вы существуете. Поймите это.

— Вы знаете все? — медленно сказала Людмила, подняв на него глаза. — И вам не жаль меня?

Это было сказано так искренно, голосом столь далеким от какой бы то ни было искусственности или комедіи, что Сергѣй Сергѣевич пришел в восторг.

— Это прекрасно, — сказал он. — ça c'est réussi, mes hommages, madame.

Лицо Людмилы осталось неподвижным, только в глазах промелькнула бѣглая и почти откровенная улыбка. Сергѣй Сергѣевич в это время быстро написал чек. Людмила, не посмотрѣв на сумму, положила его в сумку, сказала прерывающимся голосом, — простите меня, Сергѣй Сергѣевич. Прощайте — Сергѣй Сергѣевич низко поклонился — и ушла.

Когда Слетов вошел в кабинет, Сергѣй Сергѣевич сказал ему:

— Ты был прав, Федя, это была женщина с упорной волей.

— Молодая, старая, красивая, некрасивая?

— Средних лѣт, Федя, не очень красивая, но, во всяком случаѣ, интересная и с рѣзко выраженной индивидуальностью.

— Какой именно?

— Б.... — сказал Сергѣй Сергѣевич со своей радостной улыбкой. — Кстати, разскажи мнѣ о Лили, вѣдь я о ней ничего не знаю. Блондинка?

— Блондинка — такого нѣжнаго оттѣнка, который...

— Да, знаю. Голубые?

— Синіе, Сережа.

— Рот чуть - чуть велик, ты говоришь?

— Пожалуй.

— Что-то дѣтское, несмотря на?

— Да, это даже удивительно.

— Говорит «my little boy»?

— Говорила, Сережа.

— Да, в общем, тип такой же, что всегда.

— Меня удивляет, Сережа, — сказал Слетов, — как ты, с твоим несомнѣнным умом, считаешь, что может существовать опредѣленный тип женщины, и вот их тысячи, и всѣ онѣ одинаковы, вплоть до выраженій, размѣров рта и

цвѣта глаз. Пойми, что это не так, в каждой из них есть нѣчто неповторимое.

— Я бы сказал — непоправимое.

— Хорошо, непоправимое. Но когда ты дойдешь до этого и поймешь в ней вот эту одну, неповторимую черту, когда она перед тобой, понимаешь, беззащитна, как ребенок, ты понимаешь, — иногда заплакать можно.

— Это я понимаю, — сказал Сергѣй Сергѣевич, — да вѣдь слез этак не хватит. Но разскажи же мнѣ, гдѣ, что, почему? Впрочем, почему, это извѣстно.

Сергѣй Сергѣевич разговаривал так — откровенно, не играя никакой роли, и не притворяясь, с очень немногими людьми. Слетов был в их числѣ, потому что Сергѣй Сергѣевич очень его цѣнил за удивительную душевную чистоту и за искреннія дружескія чувства. Вмѣстѣ с тѣм, жизнь Слетова, в которой Сергѣй Сергѣевич не мог не принимать близкаго участія, состояла из смѣны трагедій, всегда однѣх и тѣх же, и за которыя расплачивался — в буквальном смыслѣ слова — всегда Сергѣй Сергѣевич, на средства котораго Слетов жил уже много лѣт. Трагедіи эти состояли в том, что Слетов влюблялся в какую - нибудь женщину, причем, для союза с ней, не считал никакія препятствія непреодолимыми, добивался своей цѣли, снимал квартиру, устраивался навсегда и счастливо жил нѣкоторое время, средняя продолжительность котораго была опредѣлена Сергѣем Сергѣевичем в шесть мѣсяцев, приблизительно. Затѣм происходила драма: либо подруга Слетова оказывалась ему невѣрна, либо сам Слетов влюблялся в другую женщину; назрѣвал разрыв, иногда с револьверными угрозами, потом бывало разставаніе и затѣм, с новой возлюбленной, все начиналось сначала. Короче говоря, он был похож на Ольгу Александровну своим характером и своей неисчерпаемой вѣрой в любовь с большой буквы. Любовь поглощала всѣ его замыслы и все его время и заниматься чѣм бы то ни было другим у него не оставалось никакой возможности; по образованію, к тому же, он был русскій

юрист, и даже при всем желаніи не мог бы найти себѣ работы по спеціальности во Франціи. Сергѣй Сергѣевич однажды, в отвѣт на его просьбу устроить его куда нибудь, послал его в провинцію — в окрестности Марселя — завѣдовать бухгалтерской частью в одном из своих предпріятій, но через нѣкоторое время послѣ этого в предпріятіи начались перебои и, когда Сергѣй Сергѣевич поѣхал туда, он узнал, что причиной всего этого был очередной роман Слетова с женой директора. Директор был молодой, застѣнчивый и очень дѣльный человѣк, недавно женившійся и живший совершенно счастливо до пріѣзда Слетова. Слетов влюбился в его жену, она отвѣчала ему взаимной страстью, втроем у них происходили откровенные разговоры, сопровождавшіеся тирадами Слетова о свободѣ воли и ссылками жены директора на сексуальныя, основныя теоріи жизни, которыя, по ея словам, служили единственным, все опредѣляющим началом, чѣм-то вродѣ евангельских "альфы и омеги". В общем, выхода из положенія не было, хотя Слетов с пѣной у рта доказывал, что она должна уйти к нему; все это осложнялось еще тѣм, что она была на третьем мѣсяцѣ беременности. В результатѣ — директор, чрезвычайно привязавшійся к Слетову, не питавшій к нему никаких враждебных чувств и продолжавшій оставаться влюбленным в свою жену, которая тоже, со слезами на глазах, ему говорила, что она его любит и ни за что не согласна с ним разстаться, — в результатѣ директор начал пить мертвую и на службу приходил уже пьяным; цифры и письма плыли перед его мутными глазами, до ужаса невыразительныя и потерявшія какой бы то ни было интерес; и он плакал иногда в своем бюро, перестав стѣсняться присутствія посторонних. В это же время Слетов читал с его женой вдвоем, вслух, Гамсуна и разсказывал ей свою жизнь.

Сергѣй Сергѣевич с терпѣніем и благожелательностью выслушал исповѣдь каждаго из трех заинтересованных; лицо его осталось неподвижным, когда жена директора говорила ему о сублимаціи сексуальнаго чувства; он ей посо-

чувствовал, сказал, что прекрасно ее понимает и не принадлежит к числу тѣх ограниченных людей, которые полагают, будто можно сразу, грубѣйшими, примитивными средствами разрѣшить такіе предѣльно сублимированные конфликты; обѣщал сдѣлать все, что в его силах, — и в тот же вечер увез Слетова в Париж, гдѣ Слетов собирался застрѣлиться и броситься под поѣзд метро. — Не стоит, Федя, — сказал ему Сергѣй Сергѣевич, — я убѣжден, что ты найдешь еще что нибудь неповторимое и ты увидишь, что я был прав. Это было нетрудно предвидѣть; и, дѣйствительно, через двѣ недѣли Слетов познакомился с какой то чрезвычайно элегантной дамой, владѣлицей довольно значительнаго состоянія, заключавшагося, однако, в совершенно неожиданных для Слетова формах, — именно, в четырех крупных бюро похоронных процессій. Разсказывая это Сергѣю Сергѣевичу, Слетов говорил о понятной, безумной, как он сказал, жаждѣ жизни у этой молодой женщины. — Она окружена трауром, — говорил он, — и у нея единственное желаніе: жить, жить, жить! Ты понимаешь?

Он едва не женился на ней, исчезнув на нѣсколько мѣсяцев, — и этому помѣшало только то, что она измѣнила ему, послѣ чего он снова явился к Сергѣю Сергѣевичу, не заплатив, как обычно, за такси, небритый, вз'ерошенный и измученный. — Что ты, Федя? — сказал ему Сергѣй Сергѣевич, — вот уж, подлинно — краше в гроб кладут. Откуда ты?

И вмѣстѣ с тѣм этот человѣк никогда не знал, что такое разврат или любовь по расчету. Послѣ каждаго своего романа он точно вновь воскресал для жизни и о том, что этому предшествовало, сохранял самыя смутныя и бѣглыя воспоминанія. Каждый раз он был влюблен до сумасшествія, каждый раз он был готов на все; он неоднократно уѣзжал со своими возлюбленными и знал довольно хорошо Европу; он одинаково плохо, но бѣгло говорил на нѣскольких языках, а нѣкоторым нѣжным и ласкательным словам он выучился даже по-венгерски и по-голландски, не гово-

ря уж об этом „интимном лексиконѣ" — как он сам выражался совершенно серьезно — по-еврейски, по-армянски, по-грузински. Несмотря на помятое, желтое лицо, всегдашнюю небрежность в одеждѣ, на начинающуюся лысину и на полное физическое несоотвѣтствіе с типом соблазнителя, он имѣл большой успѣх у женщин, которых заражал стремительностью своего чувства и отсутствіем каких бы то ни было сомнѣній по поводу предстоящаго счастья. Ни годы, ни длительный и, казалось бы, печальный опыт, не произвели на него никакого дѣйствія. Всего, что не касалось непосредственно главнаго вопроса его жизни, именно любви, он просто не замѣчал и существовал точно в постоянном туманѣ, в котором, медленно скользя и постепенно исчезая, плыли всѣ эти многочисленныя Лили, жены директоров, владѣлицы похоронных процессій. — Интересно, что с тобой будет, когда ты придешь в себя? — задумчиво говорил Сергѣй Сергѣевич. — Неужели вот так, до самой смерти?

— Смерть есть один из аспектов любви, — говорил Слетов. — Ты понимаешь, Сережа, вѣдь извѣстный момент твоей близости с женщиной есть точный образ смерти. Но ты воскрешаешь вновь, для того, чтобы снова умереть. Это, конечно, банальная истина, но вѣдь это так, этого нельзя отрицать.

— И тебѣ никогда не бывает скучно? — с любопытством спрашивал Сергѣй Сергѣевич.

— Я вижу, Сережа, что ты не знаешь, что такое любовь.

— В этом есть одно жестокое противорѣчіе, — сказал Сергѣй Сергѣевич. — Ты вникни, Федя. Что такое цѣнность вообще, цѣнность чувства в особенности, чѣм она опредѣляется? Его исключительностью, его, если хочешь, единственностью. От него идут развѣтвленія во всѣ концы, во всѣ закоулки твоей личной жизни. А вѣдь у тебя там живого мѣста нѣт.

— Все единственно, все неповторимо, Сережа.

— Нно ты-то все тот же самый.

— Нѣт, — серьезно сказал Слетов. — Я постоянно возрождаюсь.

— Знаешь, Федя, тебѣ бы анекдоты разсказывать.

Но Слетов никогда не уступал и никогда не отказывался от своих убѣжденій. Он поддавался иногда вліянію Сергѣя Сергѣевича, ему не могла не импонировать всегдашняя спокойная увѣренность Сергѣя Сергѣевича в том, что этот вопрос надо разрѣшить так, а не иначе. Но в теоретических своих построеніях он не мог поступиться ничѣм. Вѣрнѣе говоря, теорій для него не существовало, как таковых, онѣ были хороши лишь постольку, поскольку могли с большей или меньшей убѣдительностью выражать или комментировать его собственныя чувства. Всякая измѣна для него всегда была катастрофой; это было совершенно так, как если бы это с ним происходило в первый раз за всю жизнь. У него была почти безсознательная, глубокая увѣренность, что именно он и есть человѣк, о котором Лили или какая нибудь другая женщина должна была мечтать всю жизнь; и вот теперь, когда ея мечты сбылись, измѣнить ему она могла только в том случаѣ, если нашла кого-то лучше его, — а это ему представлялось невозможным. Он не думал так, вѣрнѣе эти мысли никогда не принимали такой формы, но чувствовал он именно это, сам не отдавая себѣ в том отчета — незаслуженная обида, явная, грубѣйшая несправедливость, чудовищное, невозможное недоразумѣніе. Понять же возможность измѣны он никогда не мог, — и оттого он всякій раз искренно и сильно страдал. Он разсказывал Сергѣю Сергѣевичу о Лили, которая была американской, взбалмошной женщиной, в извѣстной мѣрѣ даже поразительной по рѣдкой своей прозрачности, по полному отсутствію душевно - человѣческих чувств и мыслей; это была идеально здоровая блондинка с мускулистыми руками и ногами, с прекрасной, без малѣйшаго недостатка, кожей, с большим аппетитом и завиднѣйшей правильностью всѣх физіологических функцій организма; но за всю свою жизнь

она прочла едва ли десяток книг, которыя, к тому же, совершенно забыла. Никакіе моральные вопросы в ея существованіи не играли и не могли играть роли. Слетов считал ее ребенком, еще не понимающим всей прелести своей распускающейся души, — и, по досадному совпаденію, в любовном письмѣ, которое не оставляло никаких сомнѣній в ея измѣнѣ, написанном по-англійски, — тоже говорилось о распускающейся душѣ.

Они пообѣдали вдвоем, Слетов выпил пять стаканов вина и потом долго и горько плакал. — Стыдно, Федя, — сказал ему Сергѣй Сергѣевич. — Нѣт, нѣт, не стыдно, у тебя вмѣсто души желѣзо, ты этого никогда не поймешь.

Глаза Сергѣя Сергѣевича вдруг сдѣлались задумчивыми, и потом он сказал фразу, настолько поразившую Слетова, что тот поднял голову и внимательно посмотрѣл на Сергѣя Сергѣевича.

— А тебѣ, Федя, никогда не приходило в голову, что это невѣрно?

Слетов опустил голову и, когда он опять поднял ее, на лицѣ Сергѣя Сергѣевича была уже прежняя, давно знакомая, радостная улыбка. — Сегодня концерт Шаляпина, — сказал он, — пора собираться. Ѣдем, Федор Борисович.

Лола Энэ вернулась домой около двух часов ночи, послѣ обязательнаго вечера на Елисейских полях, который устраивал извѣстный парижскій декоратор и на который бы она не пошла, если бы не разсчитывала впослѣдствіи обратиться именно к его услугам при постановкѣ проектируемаго revue в ея проектируемом мюзик-холлѣ. Весь вечер она ослѣпительно улыбалась и шутила, хотя пила в общем мало, зная по опыту, что если будет пить много, то непремѣнно заболѣет. Она уѣхала оттуда в такси, потому что со времени ея недавняго замужества она была почти всегда лишена возможности пользоваться собственным автомобилем: по настоянію ея мужа, шоффер был разсчитан

и, вмѣсто ея прежняго уютнаго Delage'a, была пріобрѣтена Бюгати, которой правил ея муж. Машина, в общем, была всегда в его распоряженіи и Лола теперь почти исключительно должна была пользоваться такси. Кромѣ того, Бюгати постоянно была в ремонтѣ; это происходило, либо от очередного столкновенія с другим автомобилем, либо оттого, что гоночная модель Бюгати была неприспособлена для сравнительно медленнаго городского движенія и свѣчи ея мотора заливались маслом. Все это стоило очень дорого и было одной из причин того, что самой главной мечтой Лолы теперь была мечта о смерти ея мужа. Она не знала, как от него избавиться и очень боялась его, потому что, когда в первый раз она заговорила о разводѣ, он вдруг мгновенно поблѣднѣл и сказал, что если она начнет процесс, то он убьет ее. Лола чрезвычайно боялась смерти и очень испугалась этой угрозы. Она знала, что он способен это сдѣлать; в послѣднее время, в результатѣ жесточайшаго пьянства, его разсудок начал явно мутнѣть. Она мечтала, что он разобьется на смерть, что его автомобиль попадет под грузовик или под поѣзд на каком - нибудь переѣздѣ. Но необыкновенаня и своеобразная удача помогала ему выходить невредимым из приблизительно еженедѣльных катастроф, что казалось особенно удивительным, потому что он правил автомобилем, будучи всегда пьян.

Он был начинавшим полнѣть тридцатилѣтним человѣком с рѣдѣющими свѣтлыми волосами, который прожил тихую жизнь, полную лишеній, до встрѣчи с Лолой. Он служил в страховом обществѣ, очень мало зарабатывал и жил в плохой гостиницѣ, возлѣ Больших бульваров. Все началось с того, что он написал Лолѣ нѣсколько восторженных писем — об ея красотѣ, об ея талантѣ, о том, что эти письма не преслѣдуют никакой корыстной цѣли, так как он не смѣет даже надѣяться на знакомство с ней. Единственное, чего он хотѣл, это чтобы Лола знала, что в мірѣ есть сердце, которое бьется только для нея. Лола всегда была болѣзненно чувствительна к похвалам своему таланту

и своей красотѣ, хотя, казалось бы, должна была знать им цѣну. Кончилось это тѣм, что она встрѣтилась с ним и в первый же вечер стала его любовницей. Затѣм она рѣшила, что выйдет за него замуж и будет, таким образом, знать, что есть любящій и всѣм ей обязанный человѣк, который будет питать к ней нѣчто вродѣ неугасаемой благодарности. Она заимствовала эту нелѣпую мысль из той плохой литературы, которую изрѣдка читала. И она вышла замуж.

Все оказалось совершенно не так, как она предполагала. Во-первых очень скоро, он почувствовал к ней физическое отвращеніе. Когда она стремилась поцѣловать его в губы, он неизмѣнно отворачивался, так как не мог выносить постояннаго дурного запаха, исходившаго от нея и об'яснявшагося и плохо, и медленно работающим желудком. У нея скоро появились и другія, совершенно безспорныя доказательства этого отвращенія. К тому же выяснилось, что он, этот тихій и приличный Пьер, пил, и будучи пьян, начинал говорить тѣм языком, которым говорило французское простонародіе и в котором для слуха Лолы не было бы ничего шокирующаго, так как этот язык был и ея родным и естественным языком; но он говорил ей грубости, которых она никогда ни от кого не слыхала. Кромѣ того, он постоянно мѣнял любовниц, нѣкоторых из них привозил ночью к себѣ на квартиру и Лола сквозь легкій, старческій сон слышала их голоса, крики и все остальное. Кромѣ того, он позволял себѣ самыя нелестныя замѣчанія в присутствіи прислуги и это было совершенно неприлично.

И теперь, каждую ночь, вернувшись домой и, как обычно, долго не засыпая, Лола с наслажденіем принималась мечтать о том маловѣроятном времени, когда она останется опять одна. Она отгоняла от себя мысль, что на это, в сущности, очень мало надежды. В концѣ концов, до сих пор, до этого несчастнаго брака, жизнь ея складывалась удачно, хотя особеннаго, ослѣпительнаго счастья и не было.

Был третій час ночи, Лола начала засыпать, когда раздался телефонный звонок. Испытывая необ'яснимое, восторженное предчувствіе, она взяла трубку. — Мадам Энэ? — сказал голос. — Ваш муж совершенно случайно, но очень тяжело ранен, его отвезли в госпиталь Божон. — Благодарю вас, — сказала она с заблестѣвшими глазами. Она тотчас же одѣлась и, остановив проѣзжающее такси, поѣхала в госпиталь. Когда она вошла туда, Пьер был уже мертв. Она настояла, чтобы ей показали его труп. То, что еще нѣсколько минут тому назад было Пьером, лежало, скорчившись на боку и подвернув послѣдним предсмертным движеніем лѣвую руку, с которой не успѣли снять золотые часы - секундомѣр; и на закоченѣвшей этой рукѣ, синяя и неизмѣнно точная, стрѣлка продолжала свой вздрагивающій бѣг по бѣлому циферблату. Лола стояла перед трупом; в эту минуту она была по настоящему счастлива. Она бѣгло подумала о том, какая прекрасная реклама будет предшествовать открытію ея мюзик - холля: внезапная смерть мужа... в трагических обстоятельствах, которыя полицейское слѣдствіе... Она разстегнула с легкой брезгливостью ремешок часов, сняла их и приложила к уху, хотя и без этого было очевидно, что они продолжали идти, — и вышла из комнаты, прикрывая платком свое преобразившееся, радостное лицо. Полицейскіе, привезшіе Пьера в госпиталь, сказали ей, что в кабарэ, гдѣ он был, произошла перестрѣлка между сутенерами и шальная пуля попала в ея мужа; рана, к сожалѣнію, оказалась смертельной. Уѣзжая, Лола думала, что болѣе счастливаго предзнаменованія для открытія ея театра, чѣм это неправдоподобное, заманчивое совпаденіе ея самой прекрасной мечты с самой несомнѣнной дѣйствительностью, быть не может. Она вернулась домой, совершенно ошалѣвшая от счастья, приняла, просто для удовольствія, от необходимости как нибудь проявить свое счастье, вторую дозу слабительнаго — первая была принята давно, еще до телефоннаго звонка и не являлась чѣм то необыкновенным: Лола принимала эту порцію каж-

дый вечер, — выпила цѣлый стакан портвейна, легла и заснула крѣпким сном, каким не спала уже много мѣсяцев.

Гайто Газданов

(Продолженіе слѣдует)

ДЕНЬ

Нас обошли и жали с тыла,
Снаряды близились к концу,
И стала смерть лицом к лицу
И пулей вражеской завыла.

Шумѣли громко хвастуны,
Молчали храбрые устало,
И пламя темное войны
На горизонтѣ клокотало.

В разбитой хижинѣ к утру
Совѣт составился случайный,
И не было уж больше тайной,
Что с первым солнцем я умру.

В дырявых сумках эскадрона
Остаток скудный наскребя,
Я молча раздѣлил патроны,
Один оставил для себя.

Тогда, в минуты роковыя,
Как будто гибели на зло,
Тогда — клянусь — меня впервые
Такое счастье обожгло,

К такой свободѣ полноводной
Душа прильнула наяву, —
Что новый день, как смерть свободный,
Стал днем живых и я — живу.

Вл. Піотровскій

ОПУСТОШЕНІЕ

— Уж поздно?

— Ровно двѣнадцать, барин. Изволили вчера приказать ровно в двѣнадцать разбудить.

— А для чего?

— Не могу знать, барин.

— Хорошо. Налейте кофе и ступайте.

Лѣниво глотнув черное кофе, крѣпкое, горячее, стал вяло вспоминать, для чего велѣл разбудить себя в двѣнадцать, и не мог вспомнить.

На столикѣ у кровати лежала пачка писем и газет. Внимательно всмотрѣлся в адрес на верхнем конвертѣ и пальцем отодвинул конверт в сторону. Второй конверт, узкій, длинный, с адресом, написанным тонким расшатанным почерком, — понюхал и, хмуро шевельнув бровями, бросил на пол. Затѣм перебрал и побросал еще нѣсколько конвертов. На одном остановился, — вскрыл и прочел. Скука болѣзненно приподняла лѣвый угол рта, полногубаго, красиво очерченнаго. Рука с письмом разжалась, листок медленно опустился на коврик. На столикѣ лежало еще нѣсколько писем. Не прикасаясь к ним, взял газету, развернул, скользнул безучастным взглядом по жирным заголовкам и уронил ее. Пригубил опять кофе, поморщился и отставил: недостаточно горячее. Потянулся к звонку позвать Николая, чтобы отчитать его, и не дотянулся: не все ли равно...

Николай сам неслышно вырос перед кроватью.

— Пожалуйте, барин, ванна готова.

„Вот, надо бы его сейчас отчитать за кофе", — вяло шевельнулось в мозгу, — „вѣдь свинья, в самом дѣлѣ. Сколько раз ему уже наказывал, а он даже..."

Но не только сказать Николаю, а и до конца об этом додумать лѣнь было. Николай обязательно отвѣтит что - нибудь такое, что разсердит. А разсердиться, это значит — выйти из состоянія лѣниваго безразличія.

Спустил ноги на ковер, крутоикрыя, с пальцами вѣером, темныя от черно - шелковых волос. И вдруг показались онѣ странными, чужими. Но тут же замѣтил, что Николай наблюдает за ним и даже, кажется, поймал его на странной мысли. Это было непріятно, и он разсердился.

— Вы мнѣ сегодня опять кофе холодное подали. Сколько же раз еще наказывать вам, что кофе я хочу горячее. Понимаете: горячее!

— Простите, но...

— Ну - ну. Не возражайте. Надоѣли мнѣ ваши возраженія.

То, что он разсердился, вызвало в нем, против ожиданія, пріятное возбужденіе. Такое неожиданно освѣжающее возбужденіе дает холодная вода, которую долго не рѣшаешься плеснуть себѣ в лицо. Под вліяніем этого возбужденія он взбодрился. В халатѣ, накинутом на голое тѣло и в войлочных туфлях он прошаркал в ванную, принял там теплую ванну, обсушился пріятно жесткой мохнатой простыней, свѣжо пахнущей щелоком, и отдал свою голову в распоряженіе парикмахера, назвав его Жаном Ивановичем. Потом оживленно пофыркал под краном с холодной водой и сказал Николаю, что надѣнет жакет. К жакету озабоченно подобрал черный муаровый галстук и брошку с жемчужиной в брилліантовой розеткѣ. Матовое лицо, щеки и подбородок с синеватым отливом красиво оттѣнялись бѣлизной туго накрахмаленнаго воротника. Красивые, черные без блеска глаза, безукоризненный пробор на лѣвой сторонѣ головы, пролегавшій розовой прогалиной среди сверкающей черни плотно начесанных волос, пріятный ком галстука, мягко уходившаго в острый вырѣз чернаго жилета, окаймленнаго по ранду узеньким бѣлым шнуром, — все было как раз таким, каким он хотѣл, чтобы оно было.

Правда, под глазами кожа едва замѣтно набухла и образовались мѣшечки зелено - коричневаго оттѣнка, просвѣчивающаго даже сквозь матовый налет пудры. Это нарушало неотразимую свѣжесть лица. Но все же никто не повѣрит, что жизнь его подкатилась уже к сорок седьмому году. Он приблизил лицо к зеркалу и потрогал тонкую кожу под глазом. И в этот момент необычно проникновенно встрѣтился со взглядом, глядящим устало из зеркала. И опять, как раньше, когда увидѣл свои волосатыя ноги, удивился: это его собственное лицо, это вот и есть он сам — сейчас странный и непостижимо чужой. Сам себѣ чужой. Вот видит глаза и сквозь них проникает глубоко внутрь, видит каждое движенье скрытых за ним мыслей и чувств. И все же: кто он, вот этот с рыжими крапинками у зрачков, с родинкой на лѣвой скулѣ у виска, неразрывно близкій и в то же время такой непонятный, как будто в первый раз увидѣнный? Он оторвал глаза от зеркала и на мгновенье задержал дыханье, перехваченное скользнувшим по сердцу холодком испуга.

— Что вам, Николай?

— Обѣдать, барин, изволите сегодня дома?

Появленіе Николая вернуло его к обычному — к окружающей обстановкѣ, к предстоящему дню. Он вспомнил, зачѣм велѣл поднять себя к двѣнадцати: в два назначено чрезвычайное собраніе акціонеров банка, гдѣ его голос рѣшающій. На этом собраніи ему надо быть обязательно, — то-есть, на самом дѣлѣ, ему ничего не надо.Если он и не будет там, — все рѣшится так, как ему угодно. В жизни же его — будет он на собраніи или не будет, — ничто не измѣнится ни на волос. И все же, вмѣсто того, чтобы не ѣхать, — непремѣнно поѣдет и будет все дѣлать, как всегда такое же ненужное ему и, очевидно, никому на свѣтѣ. Вѣдь это-то как раз и есть д ѣ л о, то есть то самое, чѣм оправдана его жизнь, его положеніе в обществѣ.

Неожиданныя мысли эти повергли его снова в то безразличіе, в каком он сегодня проснулся.

— А? Что?..

— Обѣдать, барин, изволите дома? — повторил Николай, выдержавшій довольно продолжительную паузу в томительном безмолвіи.

— Дома?.. Ах, да. Постойте. Сегодня четверг? Нѣт, не обѣдать, но в семь вечера кофе. На двоих. Приготовьте все, я сам сварю. Вы мнѣ не нужны будете, можете сегодня уйти.

— Слушаю.

— Цвѣтов побольше. Только бѣлых. Сирени. Ландышей. Нарцисов. Досифей подал?

— Уж с полчаса ждет.

— Ну, ты, балуй.

Жирный, ласковый голос кучера Досифея кегельным шаром прокатился по изгибу крупа и спины сѣраго в яблоках красавца - жеребца. Сѣрый запрядал ушами, покосился огненным глазом в глубь глазного щитка и послушно составил тонкія, упругія, как натянутыя струны, ноги. Но тотчас же снова зашевелился, круто повернул голову к под'ѣзду и чуть слышно привѣтливо всхрапнул. Он знал: сейчас ласковая рука пріятно похлопает по шеѣ, прохладная ладонь мягко прижмется к губам и на ладони будет вкусный кусочек сахару. В пріятном ожиданіи сѣрый нетерпѣливо переложил во рту мундштук, постукивая зубами о его сталь, и снова топнул ногой.

— Балуй! — уж сердито крикнул Досифей. И против ожиданія не попустил, как всегда, а натянул вожжи. За наглазниками не видно было, что там такое произошло, но было слышно, как качнулась и скрипнула коляска, как шаркнуло тяжелое и осѣло на подушкѣ сидѣнья. Ни ласковой руки, ни сахару. Сѣрый досадливо дернул головой снизу вверх, загремѣл кольцами мундштука, но в этот момент мундштук туго заѣло в мякоти губ. Обычным приказом

щелкнул язык Досифея. Сѣрый сразу забыл и о рукѣ, и о сахарѣ. Привычным мягким движеньем подался грудью вперед, взял с мѣста и пошел нахоженной легкой рысью.

На засѣданіи всѣ уже были в сборѣ и сидѣли на своих мѣстах за длинным столом, покрытым темно-синим сукном с золотыми кистями по углам. Это были все люди солидные, степенные, извѣстные по Москвѣ дѣльцы, но в большинствѣ народ простоватый, поднявшійся с низов. Среди купеческих бород и сюртуков директор банка рѣзко выдѣлялся за столом своим безукоризненно - европейским видом и той четкой, великолѣпной благообразностью, какою отличаются большіе европейскіе дѣльцы. Его жакет с чуть свѣтящейся узенькой полоской платка, прекрасно, сухо, без морщинок завязанный черный галстук, нѣжно - розовыя безмускульныя руки, все свидѣтельствовало, что большія дѣла, солидность и значительность не только не мѣшали ему, но даже побуждали его, настоящаго европейца, заботиться об изысканности костюма и внѣшности. Здороваясь, директор не склонил головы, а по особенному почтительно качнул лицо вмѣстѣ с туловищем вперед и посмотрѣл отвѣтственно - серьезным, вѣжливо - безстрастным взглядом прямо в глаза. Эта серьезность директора, подчеркнутая и углубленная до предѣла, всегда казалась забавной. А сейчас непріятно подумалось: таким же серьезным лицо это остается вѣроятно и тогда, когда он ласкает ее... жену свою. И тут же, рядом с ними—с директором и его женой, в то же мгновеніе всплыл он сам — не обычный, а тот, кого он сегодня увидѣл в зеркалѣ. И она, нѣжно сіяя синими глазами, улыбалась им обоим — таким разным, таким непохожим друг на друга — совершенно одинаковой уравнивающей улыбкой.

Он напряженно шевельнул углом рта в тщетном усиліи улыбкой прикрыть брезгливость от безмускульнаго пожа-

тія мягкой, теплой руки, похожей на нагрѣтую резиновую подушку.

Засѣданіе было чрезвычайное и экстренное. С вечерним директор ѣдет в Петербург для переговоров с министром путей сообщенія о продажѣ казнѣ камских лѣсных угодій, доставшихся банку за безцѣнок по неоплаченным к сроку закладным. Директор ярко нарисовал выгоды сдѣлки, но говорил об этом так, что оказывалось — успѣхи банка и барыш акціонеров есть, главным образом, не выгода банка и его акціонеров, а — развитіе и преуспѣяніе хозяйственной жизни страны. С большой деликатностью, — как необходимые слуги на парадном обѣдѣ среди высоких гостей — проходили цифры прибылей банка среди глубоких мыслей по философіи капитала, а обогащеніе акціонеров озарялось творческой ролью капитала в жизни народа, страны, государства. Гдѣ-то еще, очень тонкими, незримыми, тщательно скрытыми, но явно скрѣпляющими всю рѣчь нитями, проходила его, директора, личная роль в этой творческой жизни страны, особенно за послѣднія пять лѣт, то-есть с того момента, как было ему оказано высокое довѣріе назначеніем на пост директора одного из богатѣйших банков страны.

— Ну-да, ну-да, все так, все вѣрно. А вот сегодня вечером...

И ему пріятно было загораживать фигуру директора, завороженнаго своею бисерною рѣчью, невѣроятною на фонѣ банковскаго засѣданія картиною встрѣчи с женою директора. Ровный голос, журчащій на тихой педали, льющаяся без задоринки чуть-чуть торопливая рѣчь с чрезвычайным обиліем слов, подаваемых, однако, так, что без них казалось, никак нельзя было сказать того, что требовалось, — все это раздражало его и выбивало из состоянія безразличія, в котором ему хотѣлось бы оставаться. Он попытался не слушать и тотчас же опять вспомнилось, что сегодня вечером придет жена директора. Это будет в то самое время, когда директор будет мчаться курьерским в Петербург.

Откинувшись в угол дивана купэ, директор будет тонко дымить папиросой и мысленно провѣрять условія сдѣлки, подсчитывать выгоды и готовить рѣчь министру. Может быть, среди мыслей о важном, директор, снисходя к долгу супруга, вспомнит свою прелестную жену, счастливую и гордую его любовью...

Только по одновременно обернувшимся лицам и устремленным на него глазам он догадался, что вопрос обращен к нему. На миг ему представилось, что он выдал свои мысли, может, даже нечаянно произнес их вслух. И вот теперь всѣ эти бородачи обернулись к нему и ждут — чѣм он еще удивит их.

Он не спѣша нашарил в карманѣ портсигар, чиркнул спичкой, закурил и дал спичкѣ догорѣть. Слѣдя, как чернѣет головка и склоняется на перегорѣвшей шейкѣ, он припоминал, о чем была рѣчь директора и чего касался обращенный к нему вопрос. Ничего не вспомнив, он осторожно положил в пепельницу обгорѣвшую спичку и медленно перебирая и разставляя слова, изложил свои соображенія. Он был главный акціонер банка, ему принадлежал контрольный пакет банка. С его соображеніями приходилось и управленію банка, и держателям остальных акцій считаться, как с соображеніями хозяина. Он это помнил. И сейчас, как всегда в таких случаях, он говорил осторожно, взвѣшивая каждое слово, но с твердою увѣренностью дѣльца, знающаго чего хочет и хозяйскую волю свою считающаго непреложной. И то, что сейчас — совершенно необычно — говоря, он в то же время как будто со стороны прислушивался к своим словам и с удивленіем отмѣчал в своей рѣчи непріятныя черты крутого, прижимистаго и алчнаго дѣльца, — нисколько не отразилось на самой рѣчи. Он настаивал на том, чтобы отказаться от уступок, использовать до конца создавшіяся благопріятныя обстоятельства и спорныя статьи обернуть так, чтобы и по ним правительсво заплатило банку.

„Зачѣм мнѣ все это?" — изумлялся он, слѣдя за своей

рѣчью и отмѣчая ея жесткое дѣлеческое содержаніе. Он узнавал в ней свои слова, свою манеру говорить и свои мысли, но теперь ему впервые открывалось их подлинное, ничѣм не прикрытое значеніе, во всей его бездушной и непривлекательной наготѣ. И по глазам окружающих он видѣл, что им, этим прожженым дѣльцам, его требованія представлялись чрезмѣрными. И все же довел рѣчь до конца, не измѣняя и не смягчая ея смысла.

Директор слушал его, уставившись в упор безстрастным взглядом округлившихся глаз. И по окончаніи рѣчи, сохраняя тот же взгляд, стал мягко и убѣдительно подтверждать, что требованія „нашего глубокочтимаго Федора Степановича" основательны и правильны, что обстоятельства, сложившіяся всецѣло в пользу банка, дѣйствительно слѣдует использовать. Но когда директор окончил свою рѣчь, то оказалось, что уступки все же необходимо будет сдѣлать, — банк и без того достаточно заработает.

Директору слѣдовало бы возразить, хотя бы для того, чтобы настоять на своем. Но он промолчал. У него не было больше воли к рѣчи. Самый процесс говоренья стал для него невозможным и мучительным. Да и не все ли ему равно — увеличится еще капитал банка, а, значит, и его личный, или останется таким, каков есть? Его собственная жизнь и весь ея размах опредѣлились до послѣдней копѣйки. Живет он, не стѣсняясь в средствах и широко. Но он не кутила и не мот. А всѣ желанья его и вкусы, обязательные расходы на благотворенія и необязательныя субсидированія нѣкоторых недорогих театральных затѣй, — словом, вся богатая жизнь его укладывается цѣликом и до конца в предѣлах ежегодно расходуемой приблизительно той же суммы, никак не задѣвающей его основного, неизмѣнно и твердо растущаго капитала. Жизни же своей он не может измѣнить, если бы даже доходы его удесятерились.

— ... таким образом, акціи нашего банка и без того дадут...

Голос директора сверлил мозг до боли. От него надо

было уйти. И не замѣчая грубости своего поступка, он шаркнул по ковру стулом и твердым шагом пошел от стола.

Директор задержал рѣчь, и рука его с карандашиком замерла на уровнѣ подбородка — как будто задержался перед фотографом, — подождал пока за ушедшим закрылась дверь и продолжал рѣчь с того мѣста, на полуфразѣ, на которой остановился.

Досифей только что сдѣлал проѣздку, чтобы взбодрить застоявшагося сѣраго и самому встряхнуться от одолѣвающей дремы, когда швейцар банковскій выскочил из под'ѣзда и дал знак подавать.

Но барин не поѣхал — отпустил Досифея домой, а сам пошел вдоль улицы неторопливым шагом. Он шел, не думая куда идет. И не хотѣлось ему об этом думать.

От узких, желтѣющих над крышами полос неба, как сквозь кисею, проливался в узкія улицы свѣт осенняго солнца. На поворотѣ улицы от желѣзнаго прута рѣшетки, которой забран был кряжистый ствол старой липы, протянулась паутинная нить, скользнула щекотно по носу, потянулась вслѣд. Он снял ее и сдунул с пальца: паутинка поплыла, тонко и нѣжно свѣтясь и тая. Как нехорошо, не по настоящему сложилась жизнь. Всегда, с тѣх пор как помнит себя, принимал он от других услуги и заботы о себѣ, пользовался трудом, мастерством, знаніем и творчеством других, брал от других потѣху, наслажденія и даже любовь, — никому ничего не отдавая взамѣн. Нечего было отдавать: ни потѣшить, ни умом плѣнить, ни талантом очаровать. Давал, правда, деньги, но и то дѣлал не от горячаго, а от холоднаго сердца и от того вѣроятно всегда давал скупо, так, что от денег его — он знал — не было никому радости. И вот прошла значительная часть жизни и что же? Богатство досталось ему без всяких усилій с его стороны — по на-

слѣдству от отца. Кое - что, правда, приходилось дѣлать, чтобы сохранить и даже увеличить его. Но можно ли было то немногое, что он дѣлал, назвать работой, хотя бы и не творческой, а просто, ну — трудовым занятіем? Находясь в Москвѣ, он ежедневно прочитывал и подписывал нѣсколько бумаг, звонил и отвѣчал по телефону и внимательно просматривал биржевой отдѣл по бюллетеням биржи и газетам. Нѣсколько раз в мѣсяц участвовал в дѣловых и общественных засѣданіях и совѣщаніях. На этом вся дѣловая часть его жизни, отнимавшая не болѣе двух - трех часов в день, кончалась. Внѣ дѣла просматривал в газетах отдѣлы политическій и театральный, вскользь проглядывал событія дня и прочитывал фельетон популярнаго фельетониста, с которым пріятельски встрѣчался. Обѣдал и ужинал, несмотря на то, что держал отмѣнную кухарку,— только изрѣдка дома, когда кого-нибудь приглашал к себѣ. Предпочитал обѣдать и ужинать в ресторанах. В театры ходил на генеральныя репетиціи и первыя представленія и всегда неизмѣнно опаздывал, а во время дѣйствія зорко слѣдил, чтобы, задремавши, не всхрапнуть. Не пропускал художественных вернисажей, гдѣ недорого покупал двѣ - три незначительныя вещицы знакомых художников. Играл часто в преферанс и, хотя и это занятіе привлекало его, главным образом, тѣм, что убивало время, играл внимательно — с чувством, блѣдно отражающим удовольствіе, — обыгрывал партнеров. И почти каждый день кончал или у Максима или у Яра. Скучал и тут один или в обществѣ знакомых, заказывая одну - двѣ бутылки шампанскаго — не болѣе. Если компанія оказывалась кутящей — досидѣв до своего часа, то-есть до трех часов ночи, расплачивался за заказанное им вино и уѣзжал домой.

В поѣздках, довольно частых, — всегда бывших бѣгством из осточертѣвшей Москвы, — дѣловая часть жизни отпадала. Поѣздки эти были—путешествія по чужим странам, иногда очень далекія и однажды даже кругосвѣтное, и обязательныя ежегодныя посѣщенія Парижа и прослав-

ленных европейских курортов. Но так же, как, находясь в Москвѣ, томился ею, так же томился по ней, находясь в чужих и далеких странах. В концѣ концов путешествія всѣ сводились к безконечному тупому сидѣнью в трясских вагонах, в грохотѣ, пыли и дыму желѣзных дорог, или к мучительным переѣздам по морю — тошнотворным и изнурительным. Смѣна стран, городов и курортов — возможно по отсутствію в нем любопытства — также сводилась к смѣнѣ отелей, до одури похожих один на другой, с их полиглотами - портье, с неизмѣнными пальмами в вестибюлѣ, блудливыми боями и с одною и тою же публикой за одними и тѣми же табль-д'отами. И меню кушаній и карточки вин во всем мірѣ тѣ же, что и в московском Метрополѣ. И такое же точно турецкое кофе, в таких же маленьких чашках, что подаются во всѣх кафэ міра, можно получить и в Москвѣ: у Трамблэ, Яра, Жана. И у московскаго Максима на Большой Дмитровкѣ — тѣ же самыя бѣлыя, желтыя, рыжія и шоколадныя женщины, которых встрѣчаешь в увеселительных мѣстах Парижа, Константинополя, Нью - Іорка, Біаррица — всюду там, гдѣ не раз слыхал, что лучшія в мірѣ женщины — русскія. Если бы никуда не ѣздить, а оставаться в Москвѣ — выпали бы из жизни только переѣзды.

Гдѣ-то за кругом его жизни существуют моря, горы, рѣки и поля, не только как мѣста для прохода поѣзда или парохода, но и как источники непосредственной радости бытія. Но все это никак не касается его лично, нисколько не задѣвает его вниманія, никак не трогает. Все это временами мелькало перед ним со скоростью поѣзда, дѣлающаго семьдесят - восемьдесят километров в час, а вообще существовало, как и всѣ достопримѣчательности разных стран, только для того, чтобы изрѣдка заполнять пустые промежутки между его завтраком и обѣдом или между обѣдом и ужином. И было все это нисколько не интереснѣе, чѣм, в ожиданіи обѣда или ужина, перелистывать комплект стараго иллюстрированнаго журнала с изображені-

ем этих самых пейзажей, примѣчательных мѣст или мертвых развалин.

Встрѣчи с интересными людьми, знаменитыми и замѣчательными... Да, были. Но эти встрѣчи, пожалуй, самая безотрадная, горькая, самая уничижительная сторона его жизни. К большим людям, к людям, находящимся на вершинѣ человѣческаго общества, он всегда тянулся и просто льнул, как собака к человѣку, несмотря на то, что самолюбіе, чувство собственнаго достоинства и сознаніе рѣзко противились этому. Обладатель солиднаго капитала, занимающій видное мѣсто в финансовом мірѣ, невольный член различных благотворительных и общественных организацій и в нѣкотором — правда, очень скромном смыслѣ — меценат, он тут и там встрѣчался с людьми, занимавшими высокіе посты в государствѣ и обществѣ, с людьми знатных родов, с выдающимися представителями науки и искусства. Но всегда и вездѣ среди этих людей он был чужой. С ним были очень любезны, привѣтливы, а среди художников и актеров были даже друзья, с которыми он был на „ты" и которые называли его Федей. Но он хорошо знал, что у одних все отношеніе к нему исчерпывалось внѣшней любезностью и привѣтливостью, а друзья, знаменитые актеры и художники, называли его за глаза не по имени и отчеству, а по кличкѣ — „наш купец".

Он нашарил в карманѣ монетку помельче и, не глядя, кинул ее в картуз старика - нищаго, сутуло прислонившагося к углу дома.

— Благодарствую, — глухо проурчал старик.

... Женщины... Были, конечно, и женщины. Много женщин. И, вѣроятно, еще будет не мало. Но природа дала ему не очень кипучую кровь и умѣренныя страсти, а время и опыт охладили его желанья и любопытство. Как и во многом другом, в любви он катится, как пущенный по откосу камень: встрѣтится на пути препятствіе — задержится, не встрѣтится — покатится дальше. У него нѣт больше желаній и нѣт воли. Вся жизнь его идет сама собой, совершает-

ся не в его волѣ и как будто не в нем, а — рядом с ним, идет за ним, как его тѣнь.

Только однажды, вѣроятно, наступит момент, когда на случайном перекресткѣ он разойдется с идущей рядом его собственной жизнью. И это будет конец.

Он с кѣм-то вѣжливо раскланялся, но тотчас же забыл с кѣм. Обернулся было посмотрѣть кто это, но раздумал: не все ли равно?

... И это будет конец. Это странно понять. Он прищурил глаза и на мгновенье даже совсѣм зажмурился, испытывая особое успокоеніе от того, как мгновенно сквозь зажмуренные глаза мягко пролилась в мозг теплая кружевная волна мрака.

Открывшимся глазам предстало большое окно магазина. В глубинѣ окна, среди всяких серьезных аппаратов и инструментов выдѣлялась мѣдная труба телескопа, покоющаяся на путанницѣ зубчатых колес, косых дисков, винтов, стрѣлок и дѣленій.

Звѣзды, иные міры, вселенная... Все это неожиданное, непостижимо огромное, существовавшее внѣ его жизни, поражая и сметая все, что было до сего им, внезапно поглотило его, как поглощает песчинку налетѣвшая туча песку.

Он даже и не замѣтил, как оказался в пріятном полумракѣ магазина, загороженнаго сосредоточенно молчаливыми, строгими стеклянными шкапами, столами, полками, заставленными все тѣми же предметами иного, чужого, новаго міра. Молодой человѣк в мягких рыжих усах, с лицом лишенным улыбки, очень вѣжливо, молча склонился перед ним.

— Да, что я хотѣл?.. Скажите, вот этот телескоп...

— Рефрактор - теодолит Шотта, — мягким голосом, таким, каким говорят в музеях и храмах, уточнил молодой человѣк. Он безшумно приблизился к инструменту, положил бѣлые пальцы на ручку колеса и покрутил. Труба вытянула шею. Он покрутил другое колесо — труба повер-

нулась, склонилась. И подвинчивая, нажимая, покручивая, молодой человѣк преподавательским тоном излагал особенности инструмента:

— ...линзы из кронгласса и флинтгласса скомбинированы с минимумом погрѣшностей против сферической и ахроматической аббераціи... часовое колесо, как видите... круг склонности...

Иные міры отошли и утонули в скучной, мало вразумительной рѣчи молодого человѣка. Не перебивая ученой словесности продавца, он заскользил взглядом по столам и шкапам, по ряду препаратов разных звѣрушек в стеклянных банках со спиртом. В одном углу за шкапом увидѣл бѣлѣющій человѣческій костяк. Так же безотчетно, как вошел в магазин, направился к скелету.

— А это...

Молодой человѣк умолк и строгим взглядом прослѣдил куда странный покупатель пошел.

— Угодно вам осмотрѣть?

— Гм. Странно, — не отвѣчая на вопрос, продолжал он. — Вѣдь когда-то вот это было живым человѣком: ходило, говорило, думало, смѣялось, огорчалось, любило.

Молодой человѣк серьезно выслушал и промолчал.

— Интересно чей это? Мужской или женскій?

— Это скелет молодой женщины...

— А - а...

Он уже хотѣл спросить, сколько стоит, но показалось диким задавать такой вопрос относительно останков человѣка. Продавец тѣм временем снял с крючка плечевой кости руку скелета и показал на сочлененія в локтѣ, у запястья, у суставов пальцев, предложил обратить вниманіе на то, как тщательно соединены и эластично подвижны всѣ сочлененія. Потом повѣсил на мѣсто руку, снял черепи указал на замѣчательную сохранность зубов в обѣих челюстях, на великолѣпную четкость черепных швов, на идеальный цвѣт кости, не уступающій цвѣту слоновой: от превосходной выварки.

Он плохо слушал — все его вниманіе было теперь сосредоточено на бѣлых женственных руках продавца, показывающаго покупателю цѣнный, доброкачественный товар. На миг представился ему собственный череп — такой же пустоглазый, безтѣлый, неподвижно - оскаленный. Он даже явственно ощутил под тонкой кожей звонко-твердую выпуклость лба и чашки черепа. Так оно и есть. Вот однажды придет смерть и так же искусно препарирует его, уберет все, что временно, что нужно для жизни, и оставит только вѣчное, костяк, т.-е. то, что никому ни на что ненужно, как валяющійся у дороги булыжник. Все так понятно, так естественно и как будто совсѣм не страшно. Пожалуй, вот то, что эти бѣлыя руки, такія легкія, подвижныя и хрупкія, держат череп ближняго как шкатулку из дерева или бронзы — непонятнѣе и страшнѣе дѣла смерти...

— Благодарю вас. Сколько стоит?

— Скелет?

— Нѣт, зачѣм? Сколько стоит... телескоп?

Молодой человѣк надѣл череп на остов, порылся в книгах, подсчитал на бумажкѣ, назвал цифру. Затѣм вѣжливо, с поклоном принял двумя пальцами чек и с новым поклоном открыл дверь странному покупателю.

Улица, озаренная желтым свѣтом без тѣней и в блестках, разсыпанных на стеклах окон, вывѣсках и карнизах, похожа была на вытканный парчевый узор. Полумрак оставленнаго магазина, серьезный, тихорѣчивый молодой человѣк, такой же серьезный и безшумный как скелет в углу, серьезные шкапы, инструменты и препараты — все, казалось, непріятно примерещилось. Двигаться по оживленной улицѣ, ощущать на лицѣ теплоту солнечных лучей — было облегчающим возвращеніем к жизни. Так облегчающе бывает выйти из ворот кладбища, гдѣ только что присутствовал на погребеніи знакомаго, но чужого человѣ-

ка. На углу улицы было кафэ Трамблэ, то самое, куда он ходил ежедневно выпить чашку турецкаго кофе, выкурить сигару, встрѣтиться кое с кѣм и поболтать. И сейчас, по привычкѣ, он направился к входу, но рука внезапно увяла на скобкѣ двери: зачѣм он пойдет туда? Услужливый до тошноты лакей Петр, угодливо потирающій руки хозяин кафэ, коричневая цыганка с тамбурином на коричневой стѣнѣ и неизбѣжный доктор Берз с его сплетнями, послѣдними анекдотами и вздорными коммерческими комбинаціями. Он поспѣшно отдернул руку от скобки и торопливо зашел за угол, — как бы с кѣм-нибудь не встрѣтиться, особенно из своих... Странно как: своих? Каких своих? Чѣм они ему свои? Тѣм, что встрѣчи с ними чаще и длятся больше, чѣм с иными, что пустая болтовня заправляется интимными сплетнями и сдабривается совмѣстным обѣдом, ужином или преферансом? Своего человѣка, настоящаго, с кѣм бы говорил и был как с самим собой, — нѣт такого. Да и нужен-ли?.. Вот сегодня встрѣча с близким человѣком — с женщиной. Она придет к нему для об'ятій. И оба они знают—только э т о каждому из них друг от друга нужно. И никакой другой близости между ними нѣт. Но она дружески отдаст ему руку, он дружески и нѣжно пожмет ее и поцѣлует, потом за кофеем и послѣ кофе она будет долго говорить о чувствах и предчувствіях, о мистеріи сближенія ищущих и встрѣтившихся душ, о жертвенности запретной любви, о неотразимой прелести грѣха. А он, очарованный ея взволнованностью, будет изрѣдка сочувственно бормотать, невнятно, но согласно откликаться. И так оба будут прикровенно и упрямо лгать не только друг перед другом, но и каждый перед самим собой, представляя особое гармоническое сближеніе душ, и оба одинаково будут ждать, скрывая нетерпѣнье, того удобнаго момента, когда разговор сам собой незамѣтно перельется в об'ятія. Вѣдь на самом же дѣлѣ никакой особой близости, ни души, ни жертвенной, ни даже настоящей страсти — ничего нѣт. И ничѣм эта женщина не ближе ему дѣвочки от Мак-

сима — бразильянки, простенькой, безихтростной, которая искренно, со всѣм данным ей от природы пламенем отлюбив его, — так трогательно откровенно подставила ему разинувшую голодную пасть денежную сумку.. .Как бы хорошо уйти от всего этого, так уйти, чтобы и возврата не было... Неожиданное желаніе вырваться из душной путаницы мыслей и чувств, из тѣсных, утомивших улиц овладѣло им с неудержимой силой. И когда он на площади, куда пришел, увидѣл лихача Васю на дутиках, — желаніе это приняло форму опредѣленнаго намѣренія. Не отвѣчая на привѣтствіе Васи, назвавшаго его по имени и отчеству, он приказал везти себя к Крынкину на Воробьевы горы.

Терраса крынкинскаго ресторана воздушно висѣла над крытым обрывом, сплошь заросшим густым, смѣшанным лѣсом, рдѣющим и желтѣющим всѣми переливами осенняго отцвѣтанія. Ниже золотилась атласная лента Москва - рѣки. За рѣкою, в полѣ, среди цвѣтистых полос дозрѣвающих огородов, отбрасывая сизую тѣнь на капустныя гряды и малиновую — на межгрядковые проборы высохшей розовой земли, залег обнесенный кровяно-алою кирпичною стѣною Новодѣвичій монастырь. Гдѣ-то за монастырем еще взблескивала полоска рѣки, пересѣченная громоздкими мостами окружной дороги, а дальше, за тонкою завѣсою пыли, пронизанной косыми лучами солнца, поднималось в гору, в глыбах зданій, храмов, золотых и синих куполов, в солнечном пламени оконных стекол и в узорѣ молочно - сѣрых тѣней, марево Москвы. И от того, что совсѣм близко проплывали медленныя нити свѣтящейся паутины, похоже было, что все залито водой и это сквозь нее прозрачно виднѣется сказочный подводный город. На штангах, косо уходящих за барьер террасы, был укрѣплен парусиновый тент. Порою по парусинѣ туго бил вѣтер, парусина вздувалась, и тогда терраса с барьером-бортом над

невидимым обрывом, на фонѣ безпредѣльнаго простора неба, похожа была на несущійся корабль.

Он сидѣл за столом у самаго барьера и подставлял лицо набѣгавшему порывами вѣтру. Единственное, чего он теперь хотѣл бы, это вот так и нестись безконечно на воображаемом кораблѣ в безбрежные просторы неба, мимо растворившихся в маревѣ городов, оставаться так совершенно одному и чтобы ни один человѣческій звук не коснулся его слуха и не нарушил сковавшаго его молчанія. Вот так и уйти навсегда от своей скучной жизни, от всего, что наполняло, не давая ни смысла, ни радости, — перелиться с вѣтром в просторы неба и истаять. Он легко сомкнул вѣки. Незамѣченный до того горячій пересвист птиц хлынул из-за террасы, загремѣл в ушах, в мозгу. И один, совсѣм близкій голосок, тонкій, прозрачный и нѣжный, терпкой жалобой смял сердце.

... Как же это вышло, что так бездарно прожита жизнь?...

Рѣзкій аккорд десятка звучных мужских голосов раздался за спиной. Он испуганно взбодрился. На небольшой эстрадѣ выстроились в двѣ шеренги пѣвцы в синих обтянутых в таліи суконных поддевках и заорали, таращась на щуплаго регента. Узкоплечій, узкоспинный, на коротеньких ногах, с волосами под скобку на тонком жилистом затылкѣ, регент стоял руки по швам и дирижировал, напряженно поводя кистями рук, с оттопыренными большими пальцами, мотал головой, забирал ее в плечи и неожиданно вздергивал так, словно хотѣл оторвать. Солдатская пѣсня безобразным ревом взорвала тишину и грубо вытолкнула его в дѣйствительность. Карманные плоскіе часы без крышки показывали пять. Что же теперь дѣлать? Да, надо домой. И опять все то же: улицы, дома, извозчики, прохожіе — все чужое, опостылѣвшее, ненужное. Потом еще: в шесть с половиной телефон, а в семь... Зачѣм все это?..

Николай все приготовил уже по заведенному издавна порядку — и вино, и фрукты, и все для кофе. И цвѣтов — на этот раз бѣлых — было достаточно. Не забыл ликера и конфект на столикѣ у тахты, не забыл в туалетной новых духов и нѣсколько свѣжих пушистых полотенец. В спальнѣ, как всегда в таких случаях, будто нечаянно забытый, лежал на стулѣ, рядом с пижамой, шелковый халат, расшитый по черному фону драконами и яблоневым цвѣтом.

Бразильянка была очень мила в этом халатѣ. Любопытно, если бы о н а узнала... Слѣдовало бы все-таки поразнообразить детали... Он взял было халат, чтобы убрать его, но лѣниво уронил опять на стул и забыл о нем. Телефон в шесть с половиной — значит, через полчаса еще. Чѣм заполнить время?

Он переодѣлся в легкій домашній костюм, вымыл руки сначала в горячей водѣ с мылом, потом одеколоном. Глядясь в зеркало, жесткой щеткой пригладил на макушкѣ отливающую черным блеском прическу и выдернул на искѣ сѣдой волос. Тоненькими кривыми ножницами выстриг нѣсколько торчавших из ноздрей волосков. И смочив палец крѣпкими англійскими духами, помазал за ушными раковинами и виски. Встрѣтившись в зеркалѣ в упор с собственным взглядом, испуганно отвел глаза: показалось во взглядѣ, будто посмотрѣл тот, утренній, очень странный и горько опостылѣвшій спутник. На мгновенье он замер, охваченный тревогой, новой, никогда еще не испытанной. Похоже было на то, что невидимая щетинистая и холодная лапа сжала грудь. Слѣдовало бы еще посмотрѣть в зеркало и убѣдиться, что это только почудилось. Но посмотрѣть еще раз не хватило рѣшимости. Он встряхнул головой: ну, хорошо. Все это вздор. Надо о другом. Он отошел от зеркала, пошарил в карманах. В одном нашел напильничек для ногтей, осмотрѣл его недоумѣнно и положил назад. Из другого кармана вынул кожаный портсигар. Вот. Закурить надо. Глотнув дыма, он вспомнил, что необходимо куда-то позвонить и что-то приказать.

Пи-и, пи-и, пи-и — явственно прозвучал пронзительный нѣжный отголосок птичьяго пересвиста. Звук был нестерпимо, до приторности жалостливый, и похоже было, что он заперт в груди, бьется там, клокочет. И это от него перехватывает горло, сохнет во рту и жаром наливаются вѣки.

Он проглотил одну за другой двѣ рюмки коньяку. Сухость во рту прошла. Теперь можно было позвонить. Куда это? Да. В магазин. Не откладывая, он разыскал в телефонной книгѣ нужный номер и позвонил. Серьезный, тихій голос откликнулся любезным вопросом.

Да. Это он звонит. Он сегодня купил... ну, да. Телескоп. Будет доставлен утром? Не раньше двѣнадцати? Хорошо. Но вот что: можно пожалуй и не торопиться. И даже лучше подождать с посылкой. Не выслушав отвѣта, он положил трубку. — Совсѣм это не то. Не звонить он должен.

Он нервно зашагал по комнатѣ, густо дымя папиросой и с тревожной торопливостью роясь в памяти, как в набитом доверху чемоданѣ. Банк, директор, вчерашній ужин, доктор Берз... Третьяго дня отказал свояку, не дал ему двухсот рублей на спасеніе векселя от протеста. Почему отказал? Как мог отказать? Надо завтра же послать ему тысячу. Три тысячи.

Он вдруг остановился, тихонько осѣл на тахту, забрался вглубь, в самый угол. Вот что надо: умереть.

Несмотря на внезапность, мысль эта не поразила, не ошеломила. Тихая, простая, обыкновенная, она мягко провѣяла невыразимым успокоеніем. Вот как; значит, все очень просто... Но если так просто, значит, он может...

Щетинистая холодная лапа на груди зашевелилась. Нѣт. Не может быть. Смерть страшна, невѣроятна, немыслима. Надо только подпустить ее ближе, надо совсѣм близко взглянуть на нее, стать с нею лицом к лицу, чтобы понять как страшно.

Он бросился к ящику письменнаго стола с такой по-

спѣшностью, как будто от того, что он сейчас сдѣлает, зависѣло его спасенье. Судорожным движеньем он выдвинул ящик стола, вынул оттуда и зажал в рукѣ маленькій браунинг. И, дѣйствительно успокоенный, вернулся на тахту, усѣлся в прежній уголок и разжал руку. Плоская вещица лежала на ладони, поблескивая чернью вороненной стали, и казалась замѣчательной игрушкой. Сдѣлана игрушка была прекрасно. Все было в ней изумительно пригнано и вѣчно. Четкія, строгія формы совершенны, как формы совершеннѣйших созданій самой природы. И вот тут, в этом крохотном игрушечном тѣлѣ, заперта смерть. При легком нажимѣ, отсюда вот, из этого маленькаго зѣва, извергается она и поражает как удар молніи: коротко и неотразимо. Выстрѣл в висок приносит мгновенную смерть. Это значит, что человѣк не успѣет даже воспринять боли, как уже перестал существовать. Вот что: страшно то, что смерть не страшна.

Пи-и, пи-и, пи-и, — совсѣм близко зазвенѣл жалобный свист. Часы на столикѣ показывали двадцать минут седьмого. Через десят минут звонок. Он вскочил, пробѣжал по комнатам. Остановился. Спину передернуло легким ознобом, и холодно замлѣли пальцы. Что же такое надо было?.. Да, подумать. Вот главное— додумать и до самаго конца. До самаго дна. О чем это только? Он поискал глазами — будто то главное, о чем надо было додумать, было не в нем, а гдѣ-то около. Через открытую дверь в спальнѣ мелькнул японскій халат. Стыдно, чтобы его так увидѣли. Он подобрал халат, сунул его в шкап... У этой бразильянки пѣсенка с глупыми на рѣдкость словами, но очень милая мелодія. Как это? О, сонора, о, сонора, перелерелюмпом — перелереля... Так вот: до конца.. .Но что же это до конца? — Как странно путается он в каких-то пустяках, когда необходимо главное. Это потому, что он суетится. Слѣдует привести себя в совершенно спокойное состояніе и сосредоточиться.

Он снова сѣл на тахту, в насиженный уголок, положил

за спину и под лѣвый локоть по подушкѣ. Устроился совсѣм удобно и затих. Однако, оказалось, что сосредоточиться вполнѣ еще невозможно было: что-то постороннее мѣшало. Он опять, как прежде, поискал глазами: стѣна, гравюра, портьера, стол, зажатый в рукѣ браунинг. На один миг удивился — откуда это у него? Потом вспомнил, усмѣхнулся и сразу всѣм тѣлом ослабѣл, так ослабѣл и обмяк, будто из него весь костяк вынули. Странно, что ему понадобилось взять револьвер, чтобы представить себѣ... На самом дѣлѣ вѣдь ничего ему не надо представлять и совсѣм ни о чем не хочет он сейчас думать. И только одного бы — оставаться вот так, в этом покоѣ. Вот так сидѣть одному, не шевелясь, долго, весь вечер... Что еще? Да. Телескоп. Какая нелѣпая покупка. Отдать куда - нибудь? В гимназію.

Часы на столикѣ были в квадратном, похожем на медовый пряник, кожаном футлярѣ. Часы эти он купил однажды проѣздом в Берлинѣ. Круглый циферблат под выпуклым стеклом затуманился, раздвоился, сморщился и снова стал выпуклым и круглым. Накладныя, позолоченныя цифры и стрѣлки качнулись, выпучились и надвинулись. Большая стрѣлка движется так, что, если сосредоточенно смотрѣть на нее — можно увидѣть, как она ползет: четверть минуты, половина, все ближе - ближе к полной цифрѣ пять. Стрѣлка растет, разбухает. Теперь вот уж без напряженія видно, как она движется и не ползет уже, а бѣжит, стремительно, бѣшено несется.

Взметнувшаяся рука царапнула зазубренным ногтем по ворсу шерстяной куртки. Непріятная судорога прошла по всему тѣлу, стиснула зубы. Он положил браунинг рядом на тахту, достал из кармана стальной напильничек и, нашарив пальцем зазубрину ногтя, тщательно сточил ее. Это занятіе всецѣло поглотило его и, когда, окончив, увидѣл около себя браунинг, опять не сразу вспомнил, откуда эта штука здѣсь. Он подобрал браунинг, повертѣл его в рукѣ. Чтобы т а к о е сдѣлать, нужны воля, темперамент, нуж-

но что - нибудь очень любить или очень ненавидѣть. А он — что любит? Что ненавидит? Жизнь? Женщин?.. Он близко, совсѣм близко поднес браунинг к глазам. Но вѣдь даже и вообразить невозможно, что он мог бы... И усмѣхаясь, в шутку испытывая себя, слегка прикоснулся холодным стальным колечком дула к мягкой впадинѣ виска. Теперь только один легкій нажим пальца отдѣляет его...

Внезапным оглушающим громом ударил телефонный звонок. От телефона мохнатым, безликим чудовищем ринулся на него темный страх, накрыл с головой шершавой душной шерстью, обшарил лапой грудь и стиснул горло. Рѣзким движеньем он отбросил браунинг далеко в другой угол тахты и прижал руку к груди. Телефон снова загремѣл требовательно и настойчиво. Вяло поднялся, почти физически осязая, как раздвоился, отдѣлился от самого себя, прошел к телефону, снял трубку. Вы?... Да. Конечно... Жду!... Положил трубку и, не снимая с нея руки, оглянулся: все еще казалось, что сзади оставил второго себя и у того сейчас еще до боли колотилось сердце, отбиваясь от об'ятій страха. Там, куда оглянулся, увидѣл лежавшій на тахтѣ безпомощным трупиком браунинг. Взял его осторожно, положил в ящик стола и ящик плотно задвинул. Около все еще что-то безпокойно двоило и путало сознаніе, но уже сердце притихло, успокоилось. В комнатѣ было очень тихо, той особенной тишиной,что изливается от обитых матеріей стѣн, от мягкой мебели и плотных ковров. И в этой мягкой и успокаивающей тишинѣ на столикѣ у тахты бодро, с упрямой настойчивостью билось маленькое стальное сердце часов, купленных проѣздом в Берлинѣ.

Іосиф Матусевич

СТИХИ ОДНОГО ДНЯ

Стихи без слов

Ни слова о тайнѣ.
Ни слова во-вѣки.
Я буду все помнить без слов.
И краски герани,
и впалыя вѣки,
и ночи, и ночи без снов.

И радость, и робость,
и пѣнье, и пляски,
и звонкій, смѣющійся вздор.
И свѣтлую пропасть
мечтательной ласки,
и глаз устремленных упор.

Но вслѣд за пожатьем
руки на прощанье —
в пустынныя ночи без снов —
так трудно дышать мнѣ...
И рушатся втайнѣ
обломки несказанных слов.

Золотая прядь

Я только поэт, не купец и не нищій, —
мнѣ трудно тебя потерять;
от бѣдных людей и с музейных кладбищ их
мнѣ право-же нечего взять.

Волос золотистую прядь или нѣжность
твоих восхитительных рук?
И солнечным утром покров бѣлоснѣжный
страны нашей пѣсенных вьюг...

Все это запомню, коль бережно время
любовь оживит, сохраня.
И буду смѣяться над тѣми, над всѣми,
кто так поносили меня.

И кто уносили, и брали, и крали,
и все-же украсть не смогли —
поэта мечтой освѣщенныя дали
над далью унылой земли.

Быть может, запомню и пѣсни, и ласки,
что пѣлись и тлѣли — не мнѣ,
и розовых щек акварельныя краски,
как персики — в бѣлом винѣ.

И тѣ загорались, о, не для поэта!
Что-ж, люди живут не в ладах
с мечтою любви, оброненною гдѣ-то
в прекрасных сосѣдних садах.

Но все-ж от людей и с музейных кладбищ их
мнѣ нечего в памяти брать.
Я только поэт, не купец и не нищій —
храню шелковистую прядь.

Птичка

Много есть прекраснаго на свѣтѣ,
но оно, как небо, — не мое.
Ты не можешь, птичка, мнѣ отвѣтить,
почему душа моя поет.

Только-что рука моя держала
трепет крыл; твой был прекрасен плѣн.
Только-что душа моя дышала
кратким счастьем среди темных стѣн.

Улетаешь? За свободой? К свѣту?
Что-ж, — лети, бывает счастье — врозь.
Только не забудь, что мнѣ — поэту —
счастья-то извѣдать не пришлось.

А любил я преданность и дружбу,
и любовь, как мір, боготворил.
Как солдат, отслуживая службу, —
не вязал ничьих свободных крыл.

Что-ж, лети! — покуда небо ясно.
У меня такого взлета нѣт.
Птичка, птичка, как-же ты прекрасна
будешь там, гдѣ льет свободный свѣт.

Черный лебедь

Черный лебедь, черный лебедь
силуэтом на закатѣ
проплывал по плавным волнам
затѣненнаго пруда.

А на небѣ, а на небѣ,
на крутом лимонном скатѣ
встала точкою безмолвной
серебристая звѣзда.

Лебедь — это крылья ночи,
это — траурное платье,
это — темный свод костела,
черный мрак тяжелых плит.

Счастье, будешь - ли короче
свѣтлой искры на закатѣ,
чей серебряно-веселый
луч со мною говорит?...

В темном небѣ свѣтом блѣдным
на пустом, потухшем скатѣ
вспыхнет вновь в тоскѣ безмолвной,
чтоб уснуть навѣк, звѣзда.

И серебряныя ленты —
память счастья на закатѣ —
разорвав, потопит в волнах
черный лебедь навсегда.

Алексѣй Ачаир

Харбин

Воспоминанія о балетѣ

3. — РУССКІЕ БАЛЕТЫ В ПАРИЖѢ.

Русскій сезон 1909 г. в Парижѣ, представлявшійся для многих наших соотечественников не болѣе, как «сравнительно удавшейся антрепризой», — оказался на самом дѣлѣ настоящим тріумфом. Если и не у всѣх участников было сознаніе значительности момента, то все же труппа в цѣлом была охвачена одним каким-то трепетом, и «послѣдній солдат шел в бой» с сознаніем долга перед нѣкоей святыней... Еще не состоялось ни одного спектакля, и в полумракѣ сцены шли однѣ только подготовительныя репетиціи (репетиціи эти иногда кончались нервными кризисами, ссорами и скандалами, ибо «срок экзамена» подступал, а не все казалось вполнѣ готовым), но уже у многих, и болѣе всего у нас, у «дирекціи», сложилось убѣжденіе, что «Парижу не сдобровать».

В сущности, я западник. Мнѣ в «настоящей», на запад от Россіи лежащей, старой Европѣ все дорого, и несомнѣнно на свѣтѣ нѣт мѣста, которое было бы мнѣ дороже Парижа, этого «геніальнаго» города, в котором вот уже сколько столѣтій не переводятся и бьющая ключем жизненная энергія, и удивительное чувство красоты, и всевозможныя откровенія науки, и романтика общественных идеалов. И все же, затаивая гдѣ-то на днѣ души досаду на готовившуюся побѣду «нагрянувших варваров», я чувствовал с первых же дней нашей работы в Парижѣ, что русскіе варвары, скифы, привезли «на генеральный экзамен в столицу міра» то, что есть *лучшаго в искусствѣ* в данный момент *на свѣтѣ*. И сразу образовался вокруг нашего дѣла сначала небольшой, а затѣм все ширившійся круг фанатических поклонников, les fervents des russes, состоявшій из французских критиков, литераторов и художников, которые лучше всяких реклам и рецензій понесли по

«Русскія Записки» за май и апрѣль 1939 г.

городу благую вѣсть о том, что в Шатлэ готовится нѣчто удивительное и прекрасное.

Оказывалось, что русскіе спектакли нужны были не только для нас, для удовлетворенія какой-то «національной гордости», а что они *нужны* были для всѣх, для «общей культуры». Наши французскіе друзья только это и повторяли: вы-де пріѣхали в самый надлежащій момент, вы нас освѣжаете, вы наталкиваете нас на новыя темы и ощущенія. И я лично уже тогда был убѣжден, что с русскаго сезона 1909 г. может начаться нѣчто вродѣ новой эры во французском и общезападном театральном искусствѣ *). И такая новая эра стала, было, дѣйствительно вырисовываться. Впечатлѣніе от русских спектаклей и больше всего от русскаго балета стало расти и сказываться во всевозможных явленіях — не только в театральных. Если же затѣм это дѣйствіе как - то ослабѣло, если так и не получилось ожидавшагося нами расцвѣта западнаго театра, а народились, вмѣсто того, многія, подчас и весьма уродливыя, ереси; если, в частности, в Парижѣ, с одной стороны, рутина, с другой, все болѣе упрочивавшійся снобизм задушили появившіеся было живые ростки, то виноваты в том тѣ явленія мірового значенія, которыя никак нельзя было тогда, в 1909 году, предвидѣть. Скорѣе еще можно удивляться тому, что русское балетное дѣло не только «выжило» в теченіе всего ужаснаго кризиса послѣдних тридцати лѣт, но даже получило такое распространеніе, о котором раньше нельзя было и мечтать.

Балетныя репетиціи в Екатерининском залѣ в Петербургѣ уже носили какой-то специфическій, не то пикниковый, не то авантюрный характер, и вот эта же атмосфера пикника и авантюры сказывалась теперь снова, когда вся наша компанія, весь наш «табор» прибыл в Париж. Почти никто из участников до тѣх пор не бывал за-границей. Тут же всѣ сразу попали на самые берега Сены, да еще весной, в чудесные, яркіе, опьяняющіе дни! Первые сюжеты обѣих трупп, балетной и оперной, поселились в центрѣ города, если не в первоклассных, то все же очень приличных отелях, но большинство ютилось неподалеку от Шатлэ — в quartier latin. Один из скромных отельчиков на Boulevard Saint-Michel был до отказа, по всѣм этажам и даже по мансардам, занят наши-

*) Почти буквально я цитирую здѣсь свои же слова, сказанныя мной в фельетонѣ в «Рѣчи», от 19 іюня / 2 іюля 1909 года.

ми «балетными». Из всѣх номеров раздавалась русская рѣчь, а то и зовы и перекликанія. Извѣстно, что русскіе люди, даже когда они воспитаны, не умѣют себя сдерживать, и их обращенія друг к другу, будь то простая просьба или какое - либо обыденное сообщеніе, производятся с чрезмѣрной затратой темперамента и так громко, что «европейцам» остается только пожимать плечами и бормотать сквозь зубы: que voulez-vous—ce sont des sauvages!

Одной из величайших для нас неожиданностей было то, что знаменитая сцена Шатлэ, на которой шли феэріи с самыми удивительными превращеніями, оказалась, по сравненію с нашими театрами, оборудованной весьма примитивным образом. Между тѣм, в одном «Павильонѣ Армиды» никак нельзя было обойтись без надежной системы люков и провалов, а также без сложнаго, на глазах у публики совершающагося, превращенія декораціи. К счастью, Дягилеву удалось заманить в свою «авантюру» первокласснаго машиниста московской оперы — К. Ф. Вальца, и под его руководством, с разрѣшенія дирекціи Шатлэ, была произведена при участіи небольшой компаніи русских плотников (работавших и днем и ночью) передѣлка всего пола и системы подвѣски декорацій. Работы начинались непосредственно по окончаніи репетицій и затягивались иногда до поздней ночи, и это было возможно только потому, что русскіе театральные рабочіе, щедро вознаграждаемые, никогда не роптали, а с веселѣйшим видом исполняли все, что от них требовалось.

Однажды я тогда чуть было не погиб, благодаря именно тому, что весь пол Шатлэ «был в движеніи». Наступив на одну планку в тот самый момент, когда производилась проба, хорошо ли она скользит в своих рейках, я чуть было не свалился в открышуюся подо мной пропасть и, лишь при напряженіи всѣх мускулов, зацѣпившись за неподвижную часть, удержался, повиснув на секунду в воздухѣ.

От Шатлэ, который был снят для наших спектаклей, до boul-Mich'a рукой подать, а потому Le Pont au Change в тѣ дни представлял подчас курьезное зрѣлище бредшей гурьбой чужестранной молодежи, направлявшейся, громогласно бесѣдуя, в театр или из театра. Тѣ из наших дам и дѣвиц, у кого было больше собственных денег, тѣ сразу обзавелись новыми шляпочками и лѣтними костюмами, и иных из них, только что еще выглядѣвших провинціалками, теперь можно было и впрямь принять за парижа-

нок. Мужчинам же, для их акклиматизаціи, потребовалось гораздо больше времени. Очаровательны были общіе завтраки и обѣды, происходившіе часто в ресторанѣ в самом зданіи театра или же в ближайших «Bouillon Duval» et «Bouillon Boulant».

С самаго 1900 года резиденціей служил мнѣ в Парижѣ тот меблированный дом на рю Камбон, гдѣ теперь помѣщается одно из отдѣленій Шанель, а завтракал и обѣдал я обыкновенно, если не бывал приглашен en ville, у Вебера или в отличном, нынѣ болѣе не существующем, ресторанѣ Туртель на bd de la Madeleine. Однако, в тот год я до того был увлечен получившейся «цыганщиной», что своему элегантному кварталу предпочитал скромные симпозіоны с артистами в Quartier latin. Все чаще к нам присоединялся и секретарь Дягилева А. М., которому необычайно нравилась одна из наиболѣе талантливых артисток труппы, что и привело к настоящему между ними роману, растянувшемуся затѣм на многіе годы. «Измѣна» М-а вызвала бѣшенство Дягилева, который «прогнал» его и лишил навсегда своей милости *). Однако, еще до того, и сам Сергѣй у всѣх на глазах стал измѣнять дружбѣ М-а, будучи все болѣе и болѣе плѣнен Нижинским. Тѣ, кто были сердечными конфидентами Дягилева, утверждали, будто это новое увлеченіе началось чуть ли не еще в дни «Павильона Армиды». Судить об этом я не могу. Не сочувствуя дягилевским слабостям, я вообще избѣгал заводить с ним разговор на подобные «сентиментальные» сюжеты. Если же это так, то умѣніе скрывать свои сердечныя дѣла было доведено у Сережи до виртуозности. Вплоть до появленія Нижинскаго на нащих балетных репетиціях в Екатерининском залѣ я никогда не видал его и Сережу вмѣстѣ, хотя и видѣлся с Дягилевым почти ежедневно. Если имя Нижин-

*) Как-то зимой, ужиная с Сережей в отелѣ Метрополь в Москвѣ, я был безмѣрно поражен словами моего друга, нравы котораго уже нѣсколько лѣт как не составляли для нас тайны. Большой ресторанціонный зал этой, тогда только что отстроенной и отдѣланной на новѣйшій лад, гостиницы, был в два этажа, и в верхнем этажѣ помѣщались отдѣльные кабинеты, открывавшіеся в видѣ лож на общій зал. Так вот, показав на одну особу, которая, свѣсившись через барьер, поглядывала на то, что творилось внизу, Сергѣй мнѣ повѣдал, что это О. Ф. — сестра знаменитой С. Ф. — и что это **единственная** женщина, в которую он «мог бы влюбиться». Именно эта О. Ф. три мѣсяца спустя оказалась той, которая побудила А. М-а «предать» Сережу. Не является ли эта исторія интересным вкладом на тему о «Wahlverwandshaften»?

скаго и произносилось Сережей, то исключительно в качествѣ имени артиста, который заслуживает особаго вниманія в виду своей даровитости. Теперь же в Парижѣ всѣм стало ясно, какое исключительное мѣсто Нижинскій должен занять во всем дѣлѣ и в какой степени «директор» им увлекается. Сразу же тогда Дягилев учредил особую кампанію рекламированія никому еще невѣдомаго артиста, и еще не состоялось ни одного спектакля, как уже я от наших парижских друзей стал слышать такія слова: «Il paraît que vous avez parmi vos danseurs un prodige, un garçon d'un talent formidable». При этом подразумѣвался именно Нижинскій, тогда как ни о Павловой (портрет которой был расклеен по всему городу), ни о Фокинѣ так никто не справлялся.

Нижинскій, надо признаться, оправдал затѣм такую свою предвосхищенную извѣстность вполнѣ. Никогда не забуду его перваго «выпархиванія» в «Павильонѣ Армиды». Это был танец — pas de trois, совершенно заново поставленный Фокиным для Парижа на музыку, первоначально сопровождавшую «танец Тѣней» и интермедію «Похищенія из сераля» (два номера из дивертисмента «Павильона» было рѣшено в Парижѣ выпустить, дабы не затягивать дѣйствіе). Уже на репетиціях можно было предвидѣть, до чего появленіе Нижинскаго в видѣ «раба Армиды», сопровождающаго двух ея наперсниц (в исполненіи Т. Карсавиной и А. Федоровой), будет эффектным. Но когда Вацлав надѣл придуманный мной для него бѣлый с желтым и с серебром костюм, гармонично сочетавшійся с двумя желтыми с золотом костюмами его дам, то получилось нѣчто, превзошедшее всѣ ожиданія и просто «невообразимое». В самый момент этого появленія едва касавшагося пола Нижинскаго, с граціозно поднятой над головой рукой, Париж ощутил присутствіе на сценѣ того начала, которое иначе, как «божественным», не назовешь. И вот здѣсь я считаю умѣстным сказать нѣсколько слов вообще о том, кто с самаго того «выпархиванія» стал нашей неоспоримой vedette.

Очень трудно опредѣлить, что из себя представлял Нижинскій, этот чудесный артист, столь безвременно сошедшій со сцены. В жизни это был самый обыкновенный юноша, тогда еще почти мальчик («почти ребенком», впрочем, он остался до самаго момента, когда овладѣвшее им безуміе прервало его карьеру), неказистой наружности, скорѣе коротенькій, с толстой шеей, неизящно торчавшей на плечах и несшей большую голову с довольно вуль-

гарными, слегка монгольскими чертами лица. Юноша рѣдко открывал рот для разговора, краснѣл, путался и замолкал. Да и то, что он все же иногда издавал, рѣшительно ничѣм не выдѣлялось от тѣх нѣсколькихъ простецких рѣчей, которыя можно было слышать от его товарищей. Даже когда позже Нижинскій, под ревнивой опекой Дягилева,понабрался кое-каких мнѣній по общим вопросам и кое-каких свѣдѣній по искусству и рѣшался иногда их высказать вслух, всегда получалось нѣчто тусклое и сбивчивое. Дягилев конфузился за пріятеля, а тот понимал, что ему лучше вернуться к молчанію.

Ничего, бросающагося в глаза, не обнаруживалось и на репетиціях. Нижинскій исполнял все безпрекословно и точно, но это исполненіе носило слегка механическій или автоматическій характер... Но картина мѣнялась сразу, как только от предварительных репетицій переходили к тѣм, которыя уже являлись не столько «постановкой», сколько послѣдней перед спектаклем «провѣркой». Нижинскій тогда точно пробуждался от какой-то летаргіи, начинал и думать, и чувствовать. Окончательная же метаморфоза происходила с ним, когда он надѣвал костюм, к которому он относился с чрезвычайным и «неожиданным» вниманіем, требуя, чтобы все выглядѣло совсѣм так, как нарисовано на картинѣ у художника. При этом, казавшійся апатичным Вацлав начинал даже нервничать и капризничать. Вот он постепенно превращается в другое лицо, видит это лицо перед собой в зеркалѣ, видит себя в *роли,* и с этого момента он перевоплощается: он буквально входит в новое свое существованіе и становится другим человѣком, притом исключительно плѣнительным и поэтичным...

В той степени, в какой здѣсь дѣйствовало подсознательное, я и усматриваю наличіе геніальности. Только геній, т. е. нѣчто, никак не поддающееся «естественным» об'ясненіям, мог стать *таким* воплотителем «хореографическаго идеала эпохи рококо», каким был Нижинскій в «Павильонѣ Армиды» (и особенно в парижской редакціи моего балета); только геній мог дать такой глубокоскорбный образ тоскующаго по утраченной возлюбленной юноши, каким он являлся в «Жизели», и опять таки *геніальной* была интерпретація им того страннаго существа, что танцовало среди могил и развалин в «Сильфидах». Геніальным он был и негром в «Шехеразадѣ», геніальным духом цвѣтка в «Spectre de la Rose» и, наконец, *геніальнѣйшій* образ Нижинскій создал в «Петрушкѣ».

Ужасным несчастіем слѣдует считать то, что Дягилев, вполнѣ оцѣнившій своего друга, как артиста, одновременно переоцѣнил его интеллект. Дягилеву показалось, что *он может* сдѣлать из этого фантастическаго, не от міра сего и ничего в жизни не понимавшаго существа — какого-то дѣятеля и творца. Он вообразил, что Нижинскій, не обладавшій «и тремя своими идеями», сдѣлается его «творческим осуществителем», — тѣм самым, кѣм не мог стать Фокин уже просто потому, что у Фокина было достаточно *своих* идей и что он вполнѣ владѣл их творческим выявленіем. Кромѣ того, Дягилеву, как человѣку страстному, с нѣкоторым сентиментальным уклоном, захотѣлось, чтоб его друг блистал несравненным блеском, чтоб он «оставил слѣд в исторіи», чтоб он не оставался *только* танцором. И тут произошел надлом. Нижинскій поддался этим внушеніям, он повѣрил, что может быть и творцом. Однако, сколько ни старались его напитывать и Дягилев, и Бакст, — вмѣсто живого творчества получалась жалкая гримаса, получались мертворожденныя произведенія. Кое что было в этих мучительно надуманных вещах *новаго* и *курьезнаго,* но новости и курьезы сами по себѣ не цѣнны, и в этом настоящая причина того, что эти балеты не удержались, не смотря на то, что музыка в них была создана Стравинским и Дебюсси...

Но вернемся к 1909 году и к нашим первым балетным спектаклям в Парижѣ.

Спектакли начались с «Павильона Армиды», половецкаго акта из «Игоря» и с дивертисмента, которому было дано достаточно нелѣпое названіе «**Le Festin**», хотя никакого пира на сценѣ не было.

Павлова, связавшая себя контрактом с какой-то другой антрепризой, не смогла поспѣть к первым представленіям, а потому, к нашему безконечному сожалѣнію, ее пришлось замѣнить в «Павильонѣ Армиды» московской примадонной Коралли, умѣлой технически и очень красивой женщиной, но артисткой слабой и бездушной. Первый танцовщик Московскаго балета Мордкин замѣнил Гердта в роли Рэнэ, однако и ему не хватало той нѣжной «поэтичности», которая является основной чертой моего героя. Мордкин во всѣх своих манерах и жестах был слишком силен, здоров и

«бодр». Напротив, «Павильон» скорѣе выиграл от замѣны в Парижѣ Соляникова Булгаковым. Особенно удачной у послѣдняго получилась вся та часть роли, которая происходит в сновидѣніи, когда дряхлый маркиз превращается в великолѣпнаго царя - чародѣя Гидраота. Громадным плюсом явилось и то, что Нижинскому была дана возможность отличиться во всю. Парижская публика с наибольшим вниманіем слѣдила именно за его танцами.

К преимуществам парижской версіи «Павильона Армиды» слѣдует еще отнести нѣкоторыя купюры и перестановки музыкальных номеров. В зависимости от купюр, время исполненія балета сократилось на добрую четверть. Наконец, мнѣ удалось внести в новыя декораціи и костюмы, спеціально для Парижа написанные и сшитые, значительныя улучшенія. Так, в петербургской версіи меня мучили сосѣдство каких-то лиловых, розовых и желтых тонов и нѣкоторая пестрота в перегруженной деталями декораціи второй картины. Дефекты эти я теперь исправил, и зрѣлище, ничего не утратив в своей яркости, получило большую цѣлостность. Особенно удачным получилось то усовершенствованіе или «украшеніе», на котором настоял маг и волшебник машинист Вальц. Это усовершенствованіе заключалось в том, что вмѣсто небольшого средняго фонтана, бившаго в петербургских «садах Армиды», здѣсь, в Парижѣ, к концу второй картины вздымались двѣ гигантскія водяныя пирамиды. Не только вид этих серебристых и пѣнистых масс производил на фонѣ темной зелени чарующее и необычайно «освѣжающее» впечатлѣніе, но и самый плеск воды както поэтично сочетался с музыкой. Лично мнѣ это напоминало тѣ незабвенныя минуты, когда ребенком я, бывало, слушая царскій оркестр на петергофской «Музыкѣ», наслаждался и там окружающими водяными шумами...

В нашем репертуарѣ «Павильон Армиды» имѣл назначеніе показать французам русское пониманіе «наиболѣе французской» эпохи — XVIII вѣка. И вот что получилось. Людям, привыкшим к тѣм приторным «кондитерским» издѣліям, которыми их угощают, под видом эпохи рококо, парижскіе театры (напримѣр, в постановкѣ «Манон» в Opéra Comique), наши краски показались черезчур яркими, а грація наших танцовщиков нѣсколько вычурной. Зато людям, умѣющим еще находить в Версалѣ, в гобеленах, в раззолоченных залах и стриженных парках, подлинный дух того, все попрежнему не старѣющаго, искусства, мы «Павильоном Ар-

миды» угодили. Среди них были — один из самых наших восторженных друзей граф Робер де Монтескіу и «сам» Анри де Ренье.

Лучшіе сборы дѣлала «Клеопатра», которую мы припасли для конца наших гастролей. Ее даже стали давать под конец оперы, и она оказалась *приманкой* для «Псковитянки»! Ея успѣх превосходил успѣх самого Шаляпина. Но дѣйствовал тут не какой-либо «соблазн зрѣлища», грубѣе говоря, — не элемент скабрезной пикантности. Правда, сама царица Египта, в лицѣ смѣлой и юной Иды Рубинштейн, постепенно лишалась всѣх своих покровов и затѣм предавалась любовному экстазу у всѣх на глазах, при чем лишь в самый критическій момент являлись услужливыя придворныя дамы, окружавшія занавѣсками ложе любовников (что до нѣкоторой степени только подчеркивало рискованность положенія)... Под дивную, но и страшную, соблазнительную, но и грозную музыку из «Млады» происходило пресловутое раздѣваніе царицы. Медленно, со сложным придворным ритуалом, разматывались одни за другими многочисленные покровы, и оголялось тѣло всемогущей красавицы, гибкая тонкая фигура которой оставалась лишь в том чудесном полупрозрачном нарядѣ, который ей придумал Бакст. Но то не являлась «хорошенькая актриса в откровенном дезабилье», а настоящая чаровница, гибель с собой несущая.

Рядом с этой сценой «раздѣванія», кульминаціонным пунктом спектакля «Клеопатры» являлась «вакханалія» на музыку Глазунова из «Времен года», что и оправдало вполнѣ возложенныя на этот номер надежды. «Вакханалію» слѣдует причислить к таким же *абсолютным* удачам Фокина, как «Половецкіе танцы», как «Шуты» в «Павильонѣ», как весь «Карнавал» и вся «Шехеразада». «Вакханалія» вызывала каждый раз такой энтузіазм, что дирижер был принужден останавливать минуты на три оркестр. Если в «Половецком станѣ» (о чем рѣчь еще впереди) мы удовлетворили парижан жадных до первобытной свѣжести, если в «Павильонѣ» мы удовлетворили художественный мір в его увлеченіи утонченностью XVIII вѣка, то «вакханалія» в «Клеопатрѣ» явилась дивным видѣніем ясной красоты древняго міра. Нас тогда же спрашивали, почему мы, задаваясь цѣлью оживить античность, не дали чего-либо болѣе опредѣленно - эллинскаго, болѣе откровенно-классическаго. Но во-первых, ничего такого, «достойнаго Пари-

жа», под рукой в 1909 г. не оказалось *), а, с другой стороны, именно в «Клеопатрѣ», в этой повѣсти о *красивѣйшей* женщинѣ древности, об этой египетской гречанкѣ, можно было выставить античную красоту не только в эллинских хитонах и хламидах, но и в окруженіи всей цвѣтистой яркости древне - восточной цивилизаціи, дать *полную* картину *античной* жизни, изобразить то, что прельщало самих древних греков и римлян, так, как нас прельщает теперь завѣтная Индія или іератическій Китай...

Свое дѣло сдѣлали и чары *талантов*. Они как-бы «бросали пыль в глаза» публикѣ, заставляли повѣрить вздорности сюжета, заставляли умолкнуть и упреки в том музыкальном вандализмѣ, который Дягилев себѣ позволил, сдѣлав из партитуры «Клеопатры» какой-то салат русских авторов. Таланты создали убѣдительную иллюзію *настоящей жизни*, тогда как, разумѣется, никогда ничего подобнаго тому, что разыгрывалось на сценѣ, быть не могло. Никогда египетскіе «дворянчики» не ухаживали за служанками храма и не пускали к ногам царицы стрѣлы с любовными записочками. Никогда дочери фараонов не предавались любовным ласкам на паперти храма; никогда онѣ не отравляли минутных фаворитов на глазах у всего народа, пришедшаго их чествовать... Наконец, если при дворѣ Клеопатры могли быть греческія танцовщицы, то не перед великими же богами царица позволяла бы им бѣсноваться и отплясывать ту вакханалію, которая подняла парижскую публику и заставила ее, обыкновенно столь сдержанную и корректную, вопить от наслажденія.

Чары талантов! О да, здѣсь их было много, и трудно было встрѣтить такое соединеніе талантов и людей, владѣющих в совершенствѣ своим искусством, какое оказалось в «Клеопатрѣ»! Тут все служило очарованію. Одна декорація Бакста чего стоила, такая торжественная по замыслу, такая красивая по своим розоватым, желтым и фіолетовым тонам! На этом фонѣ, дававшем впечатлѣніе знойнаго, душнаго, южнаго вечера, необычайно ярко загорались пурпуры костюмов, блистало золото, чернѣли хитросплетенные волосы... А как чудесно удалось Баксту и Фокину выполнить, мной придуманное, появленіе Клеопатры, появленіе не на откры-

*) Лишь два года спустя Дягилев, Фокин и Бакст создали «вполнѣ эллинскій балет» — «Нарцисс» с музыкой Н. Н. Черепнина, а еще через год балет «Дафнис и Хлоя» с музыкой Равеля и хореографическую интерпретацію «L'après-midi d'un faune» Дебюсси.

тых носилках, а в каком-то подобіи гроба или саркофага, испещреннаго таинственными золотыми письменами!.. Идея этого появленія пришла мнѣ, когда я снова и снова слушал на роялѣ чудесную музыку «Млады». Я точно воочію увидѣл тогда путешествіе царицы по пескам пустыни именно в таком замкнутом ящикѣ, а отсюда сам собой был сдѣлан «логичный вывод», что и она сама должна быть закутана как мумія, — дабы и малѣйшія песчинки не проникли через покровы и не осквернили ея божественнаго тѣла.

И каким себя проявил в «Клеопатрѣ» сам Фокин чудесным артистом - исполнителем! В проведеніи роли Амуна проявился вполнѣ его дар *переживанія*. Ему не переставали ни на секунду *вѣрить*. Он был убѣдителен и тогда, когда играл со своей возлюбленной, и тогда, когда его охватывало внезапное безуміе страсти, и тогда, в особенности, когда он бросался в об'ятья Клеопатры и искал в поцѣлуях забвенія попраннаго счастья и предстоящей неминуемой гибели. Он был — весь стремительность, закипающая южная кровь и героическая молодость. Рядом с этим ураганом образ, созданный Павловой, — нѣжной и гибкой как тростник дѣвушки, — казался еще болѣе хрупким и трогательным. Из отдѣльных исполнителей нельзя было не назвать еще Карсавиной и Нижинскаго, так складно, так граціозно исполнявших танец с покрывалом; нельзя было не упомянуть о Вѣрѣ Фокиной и обѣих сестрах Федоровых, сумѣвших быть столь чарующими вакханками!..

Рядом с «Клеопатрой» потрясающій успѣх нашего перваго сезона обусловил «Половецкій стан» из Бородинскаго «Князя Игоря». Но и тут, в *оперной* части программы, энтузіазм, главным образом, вызвал все же *балет*. Стройно и мощно пѣли хоры, эффектна была Петренко в роли Кончаковны, а тенор Смирнов восхитительно исполнял свою столь сладостную «арію ожиданія», — но не это сообщало «Стану» невиданную красоту, не это покоряло и восхищало, а танцы. Впрочем, надо сказать, и здѣсь декорація производила громадное впечатлѣніе. Созданный Рерихом по «принципу панорамы», лишенной боковых кулис, этот фон с его золотисто - алым небом над безконечной далью степей, с его дымами, столбами подымающимися из пестрых приземистых кочевых юрт, — *это было то самое, чему здѣсь надлежало быть!* До чрезвычайности убѣдительны были и костюмы, для которых Дягилев обобрал всѣ восточные магазины Петербурга и которые поражали ни-

когда еще не виданной (особенно в Парижѣ) цвѣтистостью. Наши же незамѣнимые балетные артисты с таким жаром отдались своей роли (можно сказать, что у всѣх была именно *одна* роль), так переживали ее, так перевоплощались в каких-то древних героических дикарей, в чутких степных дѣвушек и в подобія индусских баядерок, что *не повѣрить* тому, что происходило на сценѣ, оказывалось невозможным.

Однако, разумѣется, и очарованіе от половецкаго стана слѣдует, главным образом, приписать *музыкѣ*. Именно ей принадлежала *первая* роль в этом восхитительном наваждении *). Чудесное сліяніе оркестра с человѣческими голосами, под которое происходят танцы, узорчатый рисунок тем, то подлинно восточных, то цѣликом измышленных Бородиным, наростаніе звуков и бѣшенство ритмов, все это, поднесенное в прозрачной и понятной формѣ, без лишних ухищреній, но и без тѣни устарѣлости в техникѣ, — вдохновило замыслы Фокина и Рериха, и эта геніальная музыка одухотворяла на каждом спектаклѣ исполнителей, отдававшихся плясу всей душой.

Наша русская дикая примитивность, наша простота и наивность оказались в Парижѣ (в культурнѣйшем Парижѣ) болѣе изощренной, болѣе передовой и тонкой, нежели то, что там вырабатывалось на мѣстѣ. Я был прав, когда высказывал предположеніе, что «наша музыка и хореографія, из нея выросшая, окончательно убьют характерную парижскую салонную приторность». Точно так же послѣ наших постановок тѣ дорогія и сложныя академическія постановки, которыми тогда еще гордились «образцовые» (но сколь омертвѣвшіе) театры — **Opéra** или **Opéra Comique**, должны были показаться мишурными и жалкими. Наконец, послѣ наших артистов, послѣ нашего балетнаго ансамбля

---

*) Как на курьез, очень характерный для Дягилева, я укажу на то, что он, несмотря на весь свой піэтет к Бородину, выпустил из этого акта наиболѣе в Россіи популярную арію самого князя Игоря: «О дайте, дайте мнѣ свободу»... Поступая так, Дягилев ублажил свою страсть к купюрам вообще; предлогом же ему послужило то, что нѣсколько тактов этой аріи напоминают один из самых любимых военный маршей Франціи. За год до того он же отважился выпустить в «Борисѣ Годуновѣ» цѣликом всю картину «Корчмы», из опасенія как бы она не оскорбила парижан своей грубостью.

— Académie de Danse вдруг потеряла свой стародавній престиж.

Состав нашей дружеской компаніи за 1900-ые годы очень измѣнился. Совершенно отпал от нас Философов. Намѣчалось его отдаленіе еще в дни существованія «Міра Искусства», ибо «Диму» все менѣе и менѣе стали интересовать пластическія художества и, напротив, он все болѣе и болѣе углублялся, вмѣстѣ со своими друзьями Мережковскими, в сферу религіозно - философских вопросов. Когда же «Мір Искусства», окончив 1904 год, прекратил свое существованіе, Философов и вовсе исчез с нашего горизонта, а затѣм переселился вмѣстѣ с Мережковскими в Париж, гдѣ и прожил нѣсколько лѣт. Не бывал теперь у Дягилева и Нурок. Он вообще «всѣм своим демократическим нутром» ненавидѣл Сережу, то, что в нем было «барскаго» и «деспотическаго», а потому, раз кончился журнал, в котором Нурок - Силэн играл очень значительную роль, ему нечего было продолжать общеніе с бывшим редактором - издателем. Попрежнему постоянными завсегдатаями у Сережи бывали, кромѣ меня, Нувель, обиталище котораго отстояло от Дягилевскаго на еще меньшем разстояніи, нежели мое, а также Бакст и князь Аргутинскій. Когда серьезно возобновились разговоры о парижском сезонѣ, здѣсь стал бывать и Фокин и, «новичек» в нашей компаніи, — совершенно еще юный Стравинскій.

Честь «открытія» Стравинскаго принадлежит цѣликом Сережѣ, который, услыхав его «Scherzo» и «Фейерверк» в концертѣ, сразу рѣшил, что это тот человѣк, который нам нужен. Мнѣ кажется, что и Стравинскій, попав в нашу компанію, тоже почувствовал, что это та среда, которая нужна *ему*. Во всяком случаѣ, он почти сразу освоился, послѣ чего знакомство стало быстро переходить в подобіе дружбы, и это — несмотря на разницу в годах и на то, что он, начинающій, несомнѣнно должен был себя чувствовать слегка dépaysé в обществѣ людей зрѣлых и извѣстных.

Одной из связующих нитей между нами, кромѣ музыки, был культ Стравинскаго к театру, а также его интерес к пластическим художествам. В отличіе от других музыкантов, обычно равнодушных ко всему, что не есть их искусство, Стравинскій интересовался живописью, архитектурой, скульптурой и, хотя он не обладал какой-либо подготовкой в этих областях, он все же являлся цѣп-

ным собесѣдником для нас, ибо вполнѣ «реагировал на все», чѣм мы жили. Ему вообще был тогда присущ извѣстный «шарм ученичества». Он жаждал «просвѣщаться», его тянуло расширять область своих познаній и впечатлѣній. В музыкальных же вкусах мы были почти во всем заодно; его любимцы, и среди них Чайковскій, были нашими любимцами, его антипатіи были и нашими. Но самое цѣнное в нем было отсутствіе даже в намекѣ того доктринерскаго начала, которое затѣм (что бы ни говорили его поклонники и адепты) подорвало творческія силы чудеснаго мастера. В общем, если Стравинскій и шокировал нас подчас своей «типично - русской» рѣзкостью и какой-то склонностью к цинизму, то в нем еще было много и той чарующей экспансивности, и того «сентиментальнаго реагированія», которыя являются лучшими источниками вдохновенія. Увы, нынѣ Стравинскій и самую важность вдохновенія для художника отрицает...

Сразу же было тогда рѣшено, что необходимо как-то использовать Стравинскаго «для Парижа». Сам Стравинскій повѣдал, что он занят оперой «Соловей» с сюжетом, заимствованным из сказки Андерсена, и что у него уже почти готов первый акт. Однако, об оперѣ тогда не могло быть и рѣчи; опера обошлась Дягилеву в 1909 году слишком дорого и сравнительно не оправдала себя (если не считать одного акта из «Князя Игоря»). Напротив, нашими тріумфами мы, главным образом, были обязаны балету, и поэтому было рѣшено, что одни только балеты и повезутся в слѣдующій раз в Париж. Кромѣ того, и сам Сергѣй теперь относился к своей антрепризѣ не с той олимпійской об'ективностью, с которой он приступал к первому сезону, а, напротив, благодаря своей дружбѣ с Нижинским, он как-то *лично* был заинтересован в успѣхѣ именно *балетном*.

Еще два года до того, в «Діалогѣ о балетѣ», появившемся в одном сборникѣ статей о театрѣ, я высказал мечту о том, чтоб народилась в балетѣ «настоящая русская (или даже славянская) мифологія». Я находил это вполнѣ возможным, ибо всѣ элементы для хореографической драмы содержатся как в «образной», так и в «психологической» сторонѣ наших древних сказаній, былин и сказок. Мнѣ казалось, что, стоит отойти от ребячливаго трафарета «Конька - Горбунка», стоит людям, влюбленным в нашу древность, поискать способы, как ее претворить в сценическія и музыкальныя дѣйства, чтобы все дальнѣйшее нашлось само собой. Слишком

яркой вставала эта древность, со всей глубиной своих символов, перед современным сознаніем, и слишком она представлялась живой и заманчивой. Послѣ же нашего перваго парижскаго сезона было принципіально рѣшено, что настал момент создать русскую хореографическую сказку, и наиболѣе подходящую для сцены сказку мы начали *искать* общими усиліями. Однако, мы убѣдились вскорѣ, что подходящей во всѣх своих частях сказки нѣт, и таковую приходилось сочинить, вѣрнѣе, «скомбинировать». Музыку должен был писать Черепнин, танцы ставить Фокин, основные же элементы сюжета были подсказаны молодым поэтом Потемкиным. Разработкой этих элементов занялась своего рода «конференція», в которой принял участіе Черепнин, Фокин, Стелецкій, Головин и я. Очень зажегся нашей мыслью и превосходный наш писатель, великій знаток всего исконно-русскаго, и вмѣстѣ с тѣм величайшій чудак А. М. Ремизов, обладающій даром создавать вокруг себя сказочное настроеніе и даже тогда, когда бесѣда ведется на самыя обыденныя темы. В двух засѣданіях, которыя происходили у меня с Ремизовым, самый его *тон* способствовал *оживленію* нашей коллективной работы, а оживленіе выразилось затѣм в том, что мы уже не только теоретически приблизились к задачѣ, а *зажглись* ею.

Однако по дорогѣ, достаточно трудной, к осуществленію новой затѣи большинство участников «конференціи» отпало, в том числѣ отстал и Черепнин — человѣк, вообще подверженный необ'яснимым **sautes d'humeur** и к тому же переживавшій в тѣ дни какое-то необ'яснимое охлажденіе к балету вообще. Впрочем, его мечты о «Жар-Птицѣ» (вокруг этой сказки и вертѣлись наши «нащупыванія») нашли себѣ все же выраженіе в иной формѣ — в рядѣ музыкальных картин, из которых первая, очень колоритная и поэтичная, была исполнена в одном из симфонических концертов еще в сезонѣ 1909 - 1910 г. Убѣдившись, что Черепнин больше не с нами, Дягилев и рѣшил поручить созданіе музыки к нашему «русскому балету» Стравинскому. Это был один из тѣх «отмѣнно смѣлых» поступков, которыми вообще полна дѣятельность нашего друга, но в данном случаѣ и послѣ того, что мы познакомились с совершенно исключительной одаренностью юнаго композитора, — риск не был уж столь велик. Послѣ первых же опытов Стравинскаго стало очевидным, что «русскій балет» у него *выйдет*. Если же, в концѣ концов, «Жар-Птица» в цѣлом не вполнѣ

оказалась тѣм, о чем мечталось, то — случилось это не по винѣ Стравинскаго. Партитура его принадлежит к несомнѣнным «перлам», и болѣе поэтичной, во всѣх своих моментах выразительной и фантастически звучащей, музыки трудно себѣ представить.

Главным недостатком балета «Жар-Птица» остается ея фабула, ея либретто. Как мы ни старались «отойти от Конька - Горбунка», мы все-же создали «сказку для дѣтей», а не «сказку для взрослых». А хотѣлось чего-то такого, что не требовало бы «становиться на какую-то спеціальную ребячливую точку зрѣнія», к чему можно было относиться с полной серьезностью. Хуже всего — что герой балета, Иван Царевич, случайно попадающій в погонѣ за огненной птицей в запретные сады Кащея, и полюбившаяся ему царевна - Ненаглядная Краса остались в сущности чуждыми и далекими для зрителя. Это — трафаретныя фигурки из картона, а не живыя существа; им не вѣришь, и болѣть за них невозможно.

Болѣе живым в «Жар-Птицѣ» получилось «злое начало», олицетворенное Кащеем. Музыка «страшная и плѣнительно - отвратительная» во всем, что касается этого гнуснаго порожденія народнаго вымысла, особенно удалась Стравинскому. Но гибель Кащея наступает в балетѣ слишком быстро, и многое остается каким-то недосказанным, случайным. Впрочем, послѣднее получилось и от того, что Дягилев поставил «обязательным условіем», чтоб балет длился не больше часа и состоял из одного акта. Вслѣдствіе этого получились извѣстная тѣснота в разработкѣ драматическаго дѣйствія и какая-то неполная мотивированность разных моментов. Тогда же я требовал от Сережи, чтоб в слѣдующей аналогичной попыткѣ всякая поспѣшность и другія стѣснительныя рамки были оставлены. Слѣдовало дать *созрѣть вполнѣ* затѣянному. Сережа обѣщал, но мы до этого слѣдующаго, болѣе серьезнаго, опыта с «балетом на русскую тему», так и не дошли, и поэтому «Жар-Птица» остается лишь какой-то «предвозвѣстницей» чего-то, что, быть может, достанется вполнѣ осуществить другим.

На репетиціях «Жар-Птицы», происходивших в Петербургѣ в том же Екатерининском залѣ, в котором зрѣли наши постановки 1909 года, я приходил в восторг от всего, что творил Фокин. Чарующей получилась, под дивно переливающуюся музыку, игра царевен с золотыми яблочками; прекрасно было придумано па-де-де (как дико звучит это слово в приложеніи к русской сказкѣ!) Птицы и Ивана Царевича. Сколько в этом было остроумія, как вы-

разительны и многообразны попытки плѣненнаго райскаго существа вырваться из цѣпких рук и улетѣть обратно в свой невѣдомый край! Хореографическая задача была здѣсь тѣм болѣе трудной, что надлежало дать артисткѣ выказать все мастерство в передачѣ своей окрыленности и в то же время *связать* каждое ея движеніе. Масса изобрѣтательности (но совершенно иного порядка) было вложено Фокиным в постановку, сплошь на танцѣ происходившаго, «выхода Кащея», а также в «Поганом Плясѣ» и в «Колыбельной». Существовали-ли когда-либо (хотя бы в народной фантазіи) всѣ тѣ «белибошки» и прочіе уроды и гады, о существованіи которых нам с таинственным и авторитетным видом разсказывал Ремизов? Быть может, он это тут же все выдумывал. Фокин, однако, безусловно повѣрил в них, увидал их в своем воображеніи. То, что вылѣзало на сцену, вертясь, кружась, присѣдая и подпрыгивая, нагоняло гадливый ужас даже тогда, когда исполнители были еще в своих рабочих репетиціонных костюмах. Как наслаждался при этом сам Фокин, создавая эти жуткіе образы, для полнаго превращенія которых в сценическія, облаченныя в костюмы, фигуры, потребовалась бы демоническая изобрѣтательность Босха или Брейгеля...

Бѣда именно в том, что ни Босха, ни Брейгеля среди нас не было. В прежніе годы такой задачей мог бы, пожалуй, плѣниться склонный ко всякой жути Сомов, но Сомов из непримиримой антипатіи к Дягилеву продолжал упорно держаться вдали от наших театральных затѣй. Из «спеціалистов же древне - русскаго стиля» ни Билибин, ни Стелецкій не подходили к данной задачѣ — слишком в творчествѣ как того, так и другого, было много этнографическаго или археологическаго привкуса, и поэтому, в концѣ концов, пришлсь обратиться к Головину.

К сожалѣнію, задача оказалась не по плечу и Головину, точнѣе — он оказался несозвучным ни с тѣм, о чем говорила музыка Стравинскаго, ни с тѣм, что, вдохновляясь этой музыкой, «лѣпил» Фокин из артистов. Впрочем, тот эскиз декораціи, который был представлен Головиным, сам по себѣ нас всѣх плѣнил. Сады Кащея были изображены ранним утром, незадолго до разсвѣта, как бы потонувшими в прозрачной сѣрости. Слѣва нагроможденіе каких-то ядовитых грибов, смахивающих на индійскія пагоды, служило намеком на замок Кащея; справа — наслоенія матово цвѣтистых красок говорили о коварных, мягких и густых

зарослях, о топкой, душной глуши. Но если этот эскиз Головина и был в своем родѣ шедевром, как картина, то он никуда не годился, как декорація. Самый опытный спеціалист на планировки не мог бы разобраться во всей этой путаницѣ и приблизительности, и вся она казалась пестрым ковром, лишенным всякой глубины. Нельзя было себѣ представить, что в такой лѣс можно проникнуть, что это вообще лѣс с его таинственной мглой и влагой.

Еще менѣе удачными получились костюмы Головина к «Жар-Птицѣ». Взятый сам по себѣ, каждый рисунок годился бы в музей — скорѣе всего в музей этнографическій. Какія тут были краски, какіе узоры! Но и эти краски и узоры не отвѣчали сценической задачѣ. От придворной поганой челяди Кащея получалось впечатлѣніе чего-то роскошнаго и наряднаго, но вовсе не жуткаго и не «мерзкаго». Головин повторил ошибку, в которую он уже впал в постановкѣ акта Черномора в «Русланѣ». И вот, пока хореографическія затѣи Фокина исполнялись артистами на репетиціях, онѣ представлялись фантастическими, на сценѣ же все как-то заволокла неумѣстная, слишком элегантная пышность. Кикиморы выглядѣли средневѣковыми пажами, белибошки — боярами, «силачи» — янычарами, и т. д. Да и сам Кащей... Как ни старался артист казаться страшным в жестах и в гримѣ, ему это удавалось мало, ибо одѣяніе его слишком напоминало традиціонный наряд Дѣдушки - Рейна из нѣмецких сказок... Такому Кащею Иван Царевич не плюнул бы в лицо из одного отвращенія, как это полагается в сказкѣ и как это превосходно исполнял Фокин.

Нужно отдать справедливость — всѣ артисты заслужили вполнѣ восторги публики. Фокин - царевич был удивительно *красив* и «на русскій лад героичен». Ненаглядная Краса соединяла какое-то достоинство «принцессы» со стыдливой граціей и обольстительной ласковостью. Очень мастерски вел свою роль гадина - Кащей, и совершенно чудесными были обѣ артистки, исполнявшія роль Жар-Птицы, — как Карсавина, превращавшаяся постепенно в нашу «главную звѣзду», так и совершенно юная Лидія Лопухова. У первой образ феи-летуньи носил в себѣ черту какой-то чисто восточной истомы. Так, особенно хороша была Карсавина во всѣ моменты *страданія,* — в своих порывах высвободиться из рук поймавшаго ее Ивана. У Лопуховой же получалось что-то болѣе бойкое, нервное и, пожалуй, — дѣтское. Одна была *птицей,* другая — *пташечкой,* но обѣ с безукоризненной четкостью исполняли

всѣ замысловатости того хореографическаго рисунка, который им сочинил «безжалостный» балетмейстер и которыя поражали тогда еще невиданными трудностями.

При всѣх своих недочетах, «Жар-Птица» была все же прелестным зрѣлищем. Что же касается второй нашей новинки в сезонѣ 1910 года — «Шехеразады», то это наше коллективное произведеніе оказалось одним из неоспоримых наших шедевров. До сих пор успѣх этого балета не убывает, несмотря на то, что чудесная декорація Бакста давно замѣнена неказистой с нея копіей, а костюмы, тридцать раз перешитые и в конец затрепанные, утратили всю свою прежнюю обворожительную яркость!

К сожалѣнію, мнѣ лично спектакль «Шехеразады» в Парижѣ в 1910 г. доставил очень большое и нѣсколько спеціальное страданіе, и это же страданіе я испытывал и в дальнѣйшем, — каждый раз, когда бывал зрителем этого балета. Дѣло в том, что не только самая идея превратить в хореографическое дѣйствіе симфоническую картину Римскаго - Корсакова принадлежала мнѣ, но мнѣ же принадлежала и вся сценическая обработка сюжета. Это «тѣм болѣе мое произведеніе», что я даже не потрудился придерживаться программы автора, а придумал нѣчто, совершенно от нея отличное. Согласно программѣ, здѣсь описываются приключенія мореплавателя Синдбада, я же предпочел представить тот эпизод, который является вступленіем ко всему сборнику арабских сказок и в котором главным дѣйствующим лицом является вовсе не добродѣтельная разсказчица Шехеразада, а безыменная и весьма порочная супруга шаха Шахріара. Оправдываться в том, что я позволил себѣ такое отступленіе от авторской воли, я не считал бы нужным. Когда в первый раз, давным давно, я слушал «Шехеразаду» и ничего тогда не знал о существованіи программы, — мнѣ представились именно тѣ картины гаремнаго сладострастія и жестокой расправы, о которых говорится в прологѣ 1001 ночи, и эти же картины не переставали возставать в моем воображеніи каждый раз, когда я слушал «Шехеразаду» и послѣ того, как мнѣ уже стала извѣстна настоящая программа.

Поэтому и тогда, когда мы рѣшили, что повезем в Париж балет на музыку «Шехеразады», и когда, для возбужденія моего творческаго воображенія, приглашенный на этот предмет піанист стал

каждый вечер нам проигрывать клавирное переложеніе симфоніи, я оставил помыслы о похожденіях восточнаго Мюнхгаузена, а сталь под эти звуки снова фиксировать свое воображеніе на том самом, что уже давно сложилось у меня в головѣ. И постепенно это воображаемое стало принимать все болѣе конкретныя очертанія и все логичнѣе укладываться в сценическое дѣйствіе. Сергѣй с самаго начала работы рѣшил выпустить одну из частей (впослѣдствіи ее исполняли в видѣ увертюры), и это в свою очередь облегчило задачу: благодаря этой купюрѣ, дѣйствіе пріобрѣло большую стремительность и сосредоточенность. По мѣрѣ того, как балет сочинялся, я записывал сцену за сценой на страницах клавира, причем всѣ мои указанія принимались и Дягилевым и присутствовавшим почти всегда тут же Фокиным — безоговорочно, без малѣйших споров. Что же касается до Бакста, то он на этих **auditions** даже не всегда присутствовал — хотя с самаго начала было рѣшено, что постановка будет поручена ему.

Выходя как - то ночью послѣ одного из таких творческих вечеров из квартиры Дягилева, я, полушутя, сообщил провожавшему меня до моего обиталища князю Аргутинскому, что «запись черным по бѣлому» на клавирѣ должна на сей раз послужить гарантіей тому, что мной придуманное будет числиться за мной. Год назад я мучительно пережил, что Дягилев не постарался отмѣтить мой творческій вклад в общее дѣло — и, в частности, то, что мной были придуманы столь, дѣйствительно, эффектный выход Клеопатры и не менѣе эффектное ея «развертываніе». Мнѣ и сейчас непонятно, что руководило при этом и при многочисленных подобных случаях Сережей; говорила ли какая-то затаенная досада человѣка, в общем лишеннаго воображенія, говорил ли род зависти, которую вѣдь находишь в самых неожиданных мѣстах, или то происходило просто по «россійскому неряшеству»?

Каково же было мое изумленіе, когда, усѣвшись в кресло парижской Оперы и раскрыв программу, я прочел под титулом «Шехеразады» слова: «**Ballet de L. Baskt**». Я до того был поражен, что даже не повѣрил глазам, но, когда тут же зазвучал оркестр и поднялся занавѣс, я настолько весь отдался слуху и зрѣнію, и получаемое, от сліянія звуков с представшей и жившей предо мною картиной, наслажденіе оказалось таким интенсивным, что я как-то забыл о только что прочитанном. Да и тогда, когда балет кончился, восторг мой был настолько велик, что, поздравляя на сценѣ

и обнимая Бакста и Сережу, я в эти минуты болѣе не сознавал нанесенной мнѣ одним из них или обоими обиды. Лишь перечитывая афишу у себя в отелѣ, я вполнѣ осознал настоящій смысл злополучных слов, и тогда душа наполнилась горечью и возмущеніем. При этом мнѣ и в голову не приходили какія-либо матеріальныя соображенія. Несмотря на свои сорок лѣт, я все еще до такой степени оставался далек от всяких практических расчетов, что даже не подозрѣвал о существованіи, так называемых, авторских «тантьемов». Меня возмущал один только голый факт, что люди, столь мнѣ близкіе, такіе стародавніе мои друзья могли *так* со мной поступить... И разумѣется, я только окончательно опѣшил, когда на предложенный мною Сережѣ вопрос, что это означает и как это могло случиться, он, не задумываясь, на ходу бросил мнѣ фразу: — «Que veux-tu? Надо было дать что - нибудь и Бакету. У тебя «Павильон Армиды», а у него пусть будет «Шехеразада»... Я смолчал, но, вернувшись в лѣтнюю свою резиденцію в Лугано, я уже оттуда написал Сережѣ письмо, полное негодованія и упреков. Мало того, в этом письмѣ «я порывал с ним навсегда» и клялся, что ни за что не буду больше сотрудничать в его антрепризѣ.

Лучше всего выражают мое тогдашнее впечатлѣніе от «Шехеразады» тѣ строки, которыя я тогда написал в одном из своих фельетонов, в «Рѣчи», посвященных парижским спектаклям.

«Шехеразада, — писал я под свѣжим впечатлѣніем, — почему-то названа балетом Бакста. На самом - же дѣлѣ все либретто до мельчайших подробностей было сочинено другим лицом, имя котораго Дягилев почему-то счел нужным не упомянуть в Парижѣ. Но Баксту дѣйствительно принадлежит часть созданія «Шехеразады», как зрѣлища, — и зрѣлища изумительнаго, я бы сказал, невиданнаго. Когда вздымается занавѣс на этом грандіозном зеленом «альковѣ», то сразу вступаешь в мір особых ощущеній — тѣх самых, которыя вызываются чтеніем арабских сказок. Один изумрудный тон этих покровов, занавѣсок и трона, одна эта голубая ночь, что струится через рѣшетчатыя окна из гаремнаго сада, эти ворохи расшитых подушек и, среди грандіозно - интимной обстановки, эти полунагія танцовщицы, что тѣшат султана своими гибкими, строго симметрическими движеніями, одно это чарует сразу и абсолютно. Кажется, точно со сцены несутся прянно - чувственные ароматы, и душу наполняет тревога, ибо знаешь, что

здѣсь вслѣд за пиром, за безумно сладкими видѣніями должны политься потоки крови. Трудно себѣ представить болѣе тонкую, мѣткую и менѣе навячивую экспозицію драмы, нежели декорація Бакста».

«И откуда Бакст оказался в такой степени колористом и красочником? Вот поистинѣ человѣк нашел, наконец, себѣ настоящее, свое назначеніе. Здѣсь видишь, что Бакст может создавать большія, чудесныя картины, а не одну остроумную графику или «надуманныя диссертаціи» вродѣ своей картины **Terror antiquus** На сценѣ Бакст становится свободным, простым; он получает цѣннѣйшую художественную черту - размах. И не только декорація, написанная Анисфельдом в сотрудничествѣ с Бакстом и написанная изумительно-виртуозно, широко и в самых звучных красках, но и фигуры, движущіяся на этом фонѣ (согласно остроумнѣйшим комбинаціям Фокина) фигуры эти — произведенія Бакста и вполнѣ вяжутся с фоном. Говорю без преувеличенія: я *никогда* еще не видѣл такой красочной гармоніи на сценѣ, такого «благозвучнаго» в своей сложности красочнаго оркестра».

«Исполняется этот балет (длящійся всего двадцать минут) с безподобным мастерством. Восхитительны танцовщицы Фокина, Полякова и С. Федорова, очень хороши всѣ жены султана и их любовники - негры; внушителен и отвратителен старый евнух (г. Огнев), хорош и г. Киселев в роли мрачнаго, извѣрившагося в жизни Шахземана. Но совершенно безподобна гордая, коварная, безудержная в своих страстях султанша Зобеида, г-жа Рубинштейн, благородный с головы до ног царь Шахріар - Булгаков и, наконец, Нижинскій, который дает не то змѣиный, не то кошачій образ вертляваго, женоподобнаго и все же страшнаго фаворита - негра».

Александр Бенуа

РОКОВЫЕ ГОДЫ

(ИЗ ВОСПОМИНАНІЙ)

15. — ПРОТИВУПОЛОЖНЫЯ ОЦѢНКИ ПЕРВОЙ ДУМЫ.—МОЯ РОЛЬ В ДУМѢ. — КОКОШКИН И ВИНАВЕР. — БЕСѢДЫ С КРЕСТЬЯНАМИ - ТРУДОВИКАМИ. — АЛАДЬИН. — КРИТИКА АВТОНОМИСТОВ. — ОПАСНАЯ ТАКТИКА БОЛЬШЕВИКОВ И МОЯ ПОДДЕРЖКА МЕНЬШЕВИКОВ В ПОЛЕМИКѢ С НИМИ.

В солнечный день открытія Государственной Думы 27 апрѣля, я не был в числѣ моих друзей, присутствовавших при царском выходѣ, «обставленном всей пышностью придворнаго этикета и сильно рѣзавшем непривычный к этому русскій глаз», — по свидѣтельству С. Е. Крыжановскаго. Но глаз вѣрнаго слуги режима рѣзала также, на этом фонѣ блеска, безпардонная «толпа депутатов в пиджаках и косоворотках, в поддевках, нестриженые и даже немытые». Умному чиновнику сразу стало видно, что «между старой и новой Россіей перебросить мост едва-ли удастся».... «Ужас!.. Это было собраніе дикарей»... Судьба Думы в этом отзывѣ из рядов защитников «старой Россіи» была предрѣшена.

А с другой стороны, — вот сужденіе историка о значеніи Думы для «новой Россіи». Ключевскій писал Кони: «Я вынужден признать два факта, которых не ожидал. Это — быстрота, с какой сложился в народѣ взгляд на Думу, как на самый надежный орган законодательной власти, и потом — безспорная умѣренность господствующаго настроенія, ею проявленнаго. Это настроеніе авторитетнаго в народѣ учрежденія умѣреннѣе той революціонной волны, которая начинает нас заливать, и существованіе Думы — это самая меньшая цѣна, какою может быть достигнуто безкровное успокоеніе страны».

В первой Думѣ, если угодно, было все: и «дикари», введенные в нее, однако-же, самим правительством по закону 11 декабря, и «революціонная волна, заливавшая» Россію, и проявленная «гос-

подствующим настроеніем» большинства «умѣренность», и связанная с этим перспектива «успокоенія страны» при условіи продленія существованія Думы. Это был сложный и дорогой инструмент, нуждавшійся в умѣлой рукѣ. Его разбила рука подлинных «дикарей» сверху.

Я ждал у ворот Таврическаго дворца торжественнаго вступленія депутатов — по возвращеніи их по Невѣ из Зимняго дворца в старый дворец Потемкина. По пути «новая Россія» из за рѣшетки «Крестов» махала им платками и требовала «амнистіи». А в залѣ Таврическаго дворца ждал их чиновничій формализм и министерскій бойкот...

Я не попал в Думу из-за недостаточности моего квартирнаго ценза. Тот же Крыжановскій выражал сожалѣніе по поводу моего (второго) «раз'ясненія»; по его мнѣнію, я «был вреднѣе внѣ Думы, чѣм в Думѣ». Он был увѣрен, как и другіе, что я «дирижировал Думой из буфета». Это была одна из легенд, сопровождавших мою біографію. Я, конечно, поддерживал тѣснѣйшую связь с нашей парламентской фракціей и постоянно участвовал в ея засѣданіях на правах члена центральнаго комитета. В «буфетѣ» у нас был общій стол, за которым в часы завтрака, в виду перегруженности думской работой, мы каждый день спѣшно рѣшали текущіе вопросы тактики. Во время засѣданій Думы у меня было мѣсто на хорах, в предсѣдательской ложѣ, или внизу, в ложѣ журналистов, налѣво от ораторской трибуны. Отсюда, в случаѣ надобности, можно было немедленно общаться с депутатами. Все же, надо было знать состав Думы и настроеніе фракціи, чтобы не повѣрить в мое «дирижированіе». Если бы даже я был депутатом и хотѣл «дирижировать», то это было-бы неосуществимо. Не буду отрицать, что я имѣл дѣйствительное вліяніе; но оно далеко не было таково, чтобы сдѣлать меня отвѣтственным за поведеніе Думы. Да и сама фракція, при всей своей численности, политической подготовкѣ, талантливости и познаніях многих ея членов, не могла бы нести этой отвѣтственности.

Моя роль, прежде всего, опредѣлилась моей личной близостью к нѣскольким вліятельным членам Думы, принадлежавшим к центральному комитету партіи, — Петрункевичу, Кокошкину, Винаверу, Родичеву. Петрункевич стоял над нами всѣми, пользовался глубоким уваженіем, как «патріарх» направленія и живая совѣсть партіи. Но он уже не мог нести страшно утомительной еже-

дневной думской работы, быть постоянно на чеку при всѣх поворотах настроенія в залѣ засѣданій, вести регулярныя сношенія с другими группами Думы, нюансировать и дозировать участіе фракціи в общих рѣшеніях, формулировать резолюціи и подготовлять голосованія. Не могла и фракція в цѣлом слѣдить с часу на час за этим калейдоскопом. В особенности в началѣ сессіи, когда Дума еще не с'организовалась и депутаты не узнали друг друга, — на роль отвѣтственных лиц естественно выдѣлились вчерашніе партійные руководители. В нашей фракціи это были Кокошкин, Винавер и я, — скорѣе даже двое послѣдних, так как Кокошкин часто болѣл, и его мысль работала, главным образом, в сферѣ общих и принципіальных вопросов. При упомянутой уже перегруженности работы, длившейся иногда за полночь, — а иногда и всю ночь, — приходилось часто принимать рѣшенія немедленно, втроем или вдвоем — разумѣется, на основѣ предшествовавших постановленій фракціи или с послѣдующим докладом ей. Но зато вся дѣятельность фракціи носила характер единства и сплоченности— качества, которыя и дали возможность фракціи выдвинуться на первое мѣсто в Думѣ.

В другом мѣстѣ я отмѣтил, что Винавер подходил к нашей общей работѣ, как юрист и адвокат, я — как историк. Гибкій и сильный ум Винавера сразу схватывал особенности положенія, а его литературный талант помогал найти чеканную формулу, обходившую острые углы и сглаживавшую разногласія, под прикрытіем приподнятаго тона, удивительно подходившаго к торжественному стилю резолюцій первой Думы. Меня больше интересовали не отдѣльныя положенія и тактика дня, а тѣ общія политическія тенденціи, с которыми приходилось не столько мириться, сколько бороться, считаясь с настоящим, но готовясь и к будущему. Мы очень хорошо дополняли друг друга. Тонкое описаніе непрерывно возникавших, разрѣшавшихся и вновь возбуждавшихся «конфликтов в первой Думѣ» в извѣстной книгѣ Винавера изображает во всѣх подробностях эту нашу ткань Пенелопы — или Сизифов наш труд.

Фракція народной свободы представляла замѣчательный отбор лучших людей из земства, интеллигенціи и свободных профессій тогдашней Россіи. Один факт ея исключительнаго по образовательному, умственному и нравственному уровню состава наглядно доказывал безсиліе любого избирательнаго закона парализовать наличность сильнаго общественнаго настроенія. Преобладаніе

в нашем составѣ дворянства, неслужилаго и по большей части безземельнаго, лишь подчеркивало неклассовый характер партіи, сердившій, раздражавшій и вызывавшій подозрѣнія у открытых защитников классовых интересов справа и слѣва. Кажется, такія партіи только и могут существовать в началѣ парламентской жизни, свидѣтельствуя о ея непорочной молодости. Потом — опыт учит другому...

С твердыми идейными убѣжденіями у нас естественно связывались оптимизм и переоцѣнка возможности скорой реализаціи наших задач, — а с оптимизмом соединялась и готовность каждаго из нас на личную жертву для немедленной побѣды права и правды в настоящем. Эти чувства несомнѣнно связывали фракцію с лѣвыми настроеніями. Но ея политическая подготовка спасала ее от их утопизма и настраивала враждебно к их демагогіи. Для фракціи парламентская дѣятельность была не средством, а ближайшей цѣлью сама по себѣ; служеніе народу выражалось в напряженіи всѣх знаній и сил для добросовѣстнаго выполненія депутатских обязанностей в Думѣ. «Организацію масс» фракція понимала, прежде всего, как необходимую и заслуженную поддержку народом его избранников в ея парламентской борьбѣ на пользу народа. Все это противорѣчило общепринятым аксіомам лѣвых партій и безудержной фразеологіи их ораторов.

Были, однако, у нас и исключенія. Мой старый профессор Герье, учившій нас в университетѣ французской революціи по Тэну, издал в тѣ годы ученый памфлет, уличавшій именно ораторов народной свободы в ультра - лѣвых импровизаціях. Я читал эту тенденціозную книжку с негодованіем и раздраженіем: неужели мы *это* говорили? Но цитаты были по-профессорски точны; Герье выудил преступныя фразы членов фракціи из стенографических отчетов Думы. Там онѣ тонули в массѣ, здѣсь были собраны в цѣлый букет, и на нем педантически - строго построен обвинительный акт. Да, *говорили,* в самом дѣлѣ, грѣшны... Нас бы меньше бранили слѣва, если бы мы говорили их чаще...

В первыя недѣли дѣятельности Думы мы далеко еще не размежевались; депутаты только-что распредѣлялись по группам. Так как выборы происходили, за исключеніем к. д., а потом с. д., не по партіям, то очень многіе депутаты только в Думѣ самоопредѣлились политически. Иные — особенно бывшіеся начальства крестьяне — предпочитали до конца оставаться в «безпартійных». Скоро,

во всяком случаѣ, выяснилось, что наша побѣда была не такой уже полной, как сгоряча казалось. Кадетов было 153 (34%) — т. е. около трети Думы. Потом это число выросло до 179 (т. е. 37,4%). По сосѣдству с нами выкристаллизовалась группа из 107 членов, для которой ея руководители выбрали названіе «трудовой». Вдвоем мы уже составляли большинство (57%). Но это была группа очень пестрая, и ея вожди тянули ее в противуположныя стороны. Если там было 20 членов «ближе к к. д.», то такое же число было с. д. и с. р. Вопрос рѣшался тѣм, куда повернут 48 «трудовиков», отмѣтивших себя «безпартійными» или вовсе уклонившихся от отмѣтки. Это были крестьяне(не тѣ — правые, которые отмѣчены выше). За крестьян и шел между фракціями главный бой. Правительство сразу увидало, что его расчет на «сѣреньких», которые составят «министерскую партію», не удался. Попытка устроить для крестьян особый пансіон под завѣдываніем нѣкоего Ерогина ни к чему не привела; эту квартиру в шутку называли «живопырней». Успѣшнѣе работали народники в своей маленькой квартиркѣ против вокзала на Невском. Крестьяне пока только высматривали и приглядывались. Их лидерами оказались трое лѣвых — Аладьин, Аникин, Жилкин. Они и вели сношенія с нами тремя: Кокошкин, Винавер и я.

Из них мнѣ хорошо был извѣстен по лондонским воспоминаніям Аладьин. Вмѣстѣ с своей гражданской женой, болѣе талантливой и энергичной, Фалькнер, потом выдвинувшейся у большевиков, он был постоянным посѣтителем журфиксов, которые устраивала у себя жена И. В. Шкловскаго, Зинаида Давыдовна. Там мы, сообща с ней, дурачились над Аладьиным, поднимая его на смѣх. Он честно зарабатывал хлѣб, сводя, в качествѣ бухгалтера, счета у мелких лавочников в Вайтчапелѣ. Но было что-то комическое в его надутой серьезности, что и вызывало град насмѣшек со стороны хозяйки. Он выворачивался неуклюже, как-то по медвѣжьи. И никак я не мог предполагать, что встрѣчу его в новой позѣ развязнаго трибуна первой Думы, в качествѣ лидера трудовиков. Его рѣчи были до-нельзя грубы, нахальны и дерзки. Это он погрозил министрам, что не ручается за их безопасность, если они вернутся на кафедру — вызвав тѣм негодующую реплику Набокова. Послѣ одного из первых выступленій этого рода он пришел ко мнѣ на квартиру и, развалясь на диванѣ, спросил тоном, недопускающим возраженій: «ну что, каково»? Я ему отвѣтил в том же тонѣ:

«очень скверно» и приступил было к об'ясненіям. Он меня перебил. «Вы не понимаете. Так теперь надо. Вы еще увидите, что будет»... Он, дѣйствительно, скоро прославился на всю Россію, окончательно увѣровал в свою роль и проникся совершенно невыносимой самоувѣренностью и апломбом. Двое других были люди скромные и совѣстливые: с ними можно было разговаривать по душѣ.

Наше отношеніе к трудовой группѣ было самое предупредительное и на первых порах встрѣтило с ея стороны дружественный отклик. Не имѣя кандидата в товарищи предсѣдателя, трудовики сами предложили на эту должность члена нашей фракціи Гредескула. К этому времени относятся и мои попытки войти в контакт с трудовиками. Меня выбирали предсѣдателем совмѣстных засѣданій с ними — в самые отвѣтственные моменты совѣщаній о первых шагах в Думѣ. Предварительное обсужденіе отвѣта на тронную рѣчь происходило в совмѣстных собраніях двух наших вышеназванных «троек». Я предсѣдательствовал и в соединенном засѣданіи групп по вопросу о выраженіи недовѣрія министерству — и намѣренно склонил собраніе в пользу принятія формулы, предложенной трудовиками. По конфликту из-за непринятія царем депутаціи с адресом, трудовая фракція согласилась выслушать меня и склонилась, послѣ моих об'ясненій, к болѣе умѣренной формулѣ к. д. В «конфликтах» Винавера я нашел порадовавшее меня свидѣтельство, что я «тогда был популярен» в трудовой группѣ и что крестьяне даже выражали «сожалѣніе», что у нас-де нѣт такого, чтобы так ясно и умно излагал». Я сам почувствовал, послѣ этого опыта, что могу просто и убѣдительно об'ясняться с крестьянами — без посредничества их «лидеров». Крестьяне были и в нашей фракціи и составляли в ней 6%: солидный, дѣльный тип из сѣверных губерній. Бесѣдовать с ними было для меня истинным наслажденіем.

Скоро, однако, эта первая стадія прошла. Возобладало в трудовой группѣ вліяніе партійных интеллигентов. Началась систематическая травля партіи к.-д. на бурных петербургских публичных собраніях. Но этот тон, видимо, отталкивал думских крестьян. Они успѣли познакомиться с разными проектами аграрной реформы, отвергли с-ровскій проект и, видимо, предпочитали наш кадетскій. Тяга к нам еще усилилась, когда пріѣхали с Кавказа соціал - демократическіе депутаты и, не довольствуясь внутренней парла-

ментской борьбой, развили пропаганду тактики революціонной борьбы внѣ Думы. Крестьяне, наконец, рѣшили выйти из трудовой группы. Не смѣя открыто присоединиться к к. д., они образовали особую «крестьянскую» фракцію, в составѣ 40 членов. Эта перемѣна обѣщала измѣнить всю политическую физіономію Думы; но это был уже канун роспуска. Правительство предпочло об'явить всю Думу, по выраженію министра Шванебаха, «новым совѣтом рабочих депутатов или союзом союзов». Шванебах был одним из ярых сторонников скорѣйшаго роспуска Думы.

Тогда-же мнѣ пришлось опредѣлить свое отношеніе и к третьей думской группѣ, «автономистов», наиболѣе численной послѣ первых двух (14%). Помимо своего основного ядра, она включала также членов других фракцій, принадлежавших к нерусским національностям: в том числѣ и к. д. Основное ядро группы, 63 члена, было очень компактное: 43 члена принадлежали к польскому коло и к представителям сѣверо - западных и юго - западных губерній. Это были очень состоятельные, частью крупные землевладѣльцы. Коло внесло, между прочим, свой проект автономіи, несогласованный с предположеніями к.-д. Литовцы, латыши и украинцы составили еще 16 членов ядра. Путем присоединенія членов других фракцій оно удвоилось в числѣ.

Я указал тогда же в печати на усложненія, которыя должно было вызвать образованіе новой группы, если она будет сильна. Вопросы національные отодвинули бы тогда вопросы соціальные и конституціонные, стоявшіе у нас на первой очереди, спутали-бы вопросы равноправія с вопросами національнаго государственнаго права, смѣшали-бы по необходимости, при общей групповой постановкѣ, всѣ различія между минимумом и максимумом требованій различных національностей, неодинаково подготовленных к самоуправленію, а все вмѣстѣ взятое пропорціонально ослабило бы дѣятельность остальных парламентских групп. Я об'яснял также, что до общаго очищенія политической атмосферы національные вопросы, все равно, не могли получить надлежащаго разрѣшенія. Всѣ эти опасенія не осуществились вслѣдствіе пассивности этой пестрой группы. Но мои возраженія не означали, конечно, что фракція забыла о національном вопросѣ. Когда поляки обезпокоились по поводу умолчанія о польской автономіи в отвѣтѣ Думы на тронную рѣчь, А. Р. Ледницкій обратился ко мнѣ с открытым письмом по этому вопросу, и я отвѣтил таким-же открытым

письмом в газетѣ, подтвердив, что партія отнюдь не измѣнила своего взгляда на рѣшеніе польскаго вопроса. Тот-же Ледницкій в своей статьѣ о «національном вопросѣ в первой Думѣ» отмѣтил многочисленныя выступленія членов фракціи к. д. по этому вопросу, признав, в заключеніе, что «лишь в партіи» к. д. всѣ нерусскія народности могут «найти дѣйствительную опору и поддержку».

Переходя от возможных наших союзников к противникам, я никак не могу поставить на первое мѣсто в их ряду правое крыло первой Думы, худосочное и безсильное. Наиболѣе рѣшительные враги этого рода остались внѣ Думы; черносотенныя телеграммы о разгонѣ Думы находили пріют в «Правительственном Вѣстникѣ». «Безпартійные» мужички и священники прислушивались и к нам, и к лѣвым, но, конечно, боясь преслѣдованій, не могли открыто проявлять своя тайныя симпатіи. Нѣсколько октябристов, попавших в Думу, были сконфужены своим названіем и переименовались в «мирное обновленіе», присоединив к себѣ и немногих «демократических реформаторов» - индивидуалистов из политических клубов. Большею частью они голосовали вмѣстѣ с нами, хотя, иногда, и удивляли нас политическими сюрпризами. Главным врагом — и не только нашим, а всей Думы, как учрежденія, были тѣ, кого мы принуждены были заключить в условныя кавычки, как сомнительных и опасных «друзей слѣва». Это они несут перед исторіей главную отвѣтственность за вторичную (послѣ декабря 1905 года) гибель всего нашего общаго дѣла. Внутри Думы они, из-за своего-же неудавшагося бойкота, были слабо и безлично представлены. Только в концѣ, по пріѣздѣ кавказских с.-д., взявших палку в руки, они развернули свою тактическую работу. Но тут они были связаны, — если не в своих рѣчах, то в своих парламентских пріемах, — тѣсными рамками учрежденія и наказа Думы. В «конфликтах» Винавера можно прочесть, как мы выходили из их мелких сравнительно уколов и обезвреживали их замыслы. В первой Думѣ это было еще возможно.

Гораздо серьезнѣе и опаснѣе была митинговая и газетная пропаганда крайних флангов соціалистических партій внѣ Думы, направленная, главным образом, против думской фракціи народной свободы. Их тактика, однако же, и тут осложнялась острой полемикой с своими же, болѣе умѣренными собратьями - меньшевиками. «Об'единительный» стокгольмскій с'ѣзд никого не об'единил. Борьба большевиков с меньшевиками продолжалась на тѣх же по-

зиціях, как и прежде. Меньшевики были сильны продуманностью своей аргументаціи и опытом недавних большевистских провалов. Но большевики, попрежнему, отвѣчали на всѣ их сложныя разсужденія демагогическими призывами к примитивным инстинктам массы. Когда Плеханов совершенно правильно уличал большевиков в «бланкизмѣ», мнѣ пришлось замѣтить ему, что именно «бланкизмом» и было сильно в прошлом русское революціонное движеніе. «Бланкизм есть интеллигентская революція»! — Да, но она опирается на «новые приливы» общественнаго настроенія и в промежутки между провалами снова гипнотизирует массу. Приходилось признать и то, что «новый прилив» есть очередной факт жизни и что он опять грозит всѣм нам новым пораженіем. Я повторял свои прежнія наблюденія: боевое настроеніе масс «было правѣе господствующей в Думѣ партіи в январѣ; оно поднялось до настроенія этой партіи во время выборов в Думу и теперь поднималось дальше, в том-же направленіи»...

Меньшевики были оттѣснены пропагандой этих настроеній — почти до позиціи кадетов. В «Нашей Жизни», «Дѣлѣ Народа», «Невской Газетѣ» мы встрѣчали нѣкоторую поддержку. «Курьер» печатал статьи Плеханова и Потресова:«Эхо» и «Голос Труда» требовали отсрочки «боевой организаціи»—против проповѣди с-р-ов, которые, устами воскресшаго Хрусталева, уже призывали к возстановленію «Совѣта рабочих депутатов». На столичных митингах большевики одерживали над меньшевиками такія-же побѣды, как над «кадетами»; так же не давали говорить их ораторам, так же обвиняли их в «контр - революціонности». Борьба между двумя теченіями особенно ярко выразилась в конфликтѣ центральнаго комитета партіи с ея петербургским комитетом. Меньшевики из Ц. К. на с. д. митингах предлагали требовать замѣны правительства министерством из думскаго большинства; они трактовали к.-д. и трудовиков Думы, как одно цѣлое, и от всей Думы, как учрежденія, ждали подготовки «дальнѣйшаго шага в борьбѣ». Напротив, большевики петербургской группы признавали Думу «безсильной» и «неспособной к рѣшительной борьбѣ», предлагали отколоть трудовиков от «либеральных партій», внушив им «болѣе рѣшительную политику» и «обострив конфликты внутри Думы», на почвѣ «требованія от Думы открытаго обращенія к народу». Дальнѣйшее рисовалось петербургскому комитету, как возвращеніе к декабрьской тактикѣ: «сверженіе власти совмѣстными дѣйствіями рабочих и

крестьян» и «подготовка к этим дѣйствіям, пока не придет рѣшительный момент революціоннаго выступленія». Напрасно Плеханов старался убѣдить своих лѣвых коллег, что «подавляющая масса крестьян о возстаніи, направленном к завоеванію власти, не хочет и слышать и пока еще пролетаріата на этом пути не поддержит, а поэтому нелѣпо стараться обойти «либералов» и водрузить путем «активнаго выступленія» знамя диктатуры пролетаріата». Напрасно он об'яснял им, что, дискредитируя Думу, они тѣм самым поддерживают Горемыкина, который не будет дожидаться, пока народ придет на выручку, а просто разгонит Думу. Большевики твердили свое: «народу придется все взять самому; дѣло идет к рѣшительной борьбѣ внѣ Думы»... Тут уже не только предрѣшался разгон первой Думы, но и намѣчалась тактика второй.

С этой самой цѣлью, очевидно, им удалось подсунуть трудовой группѣ предложеніе, конфузливо внесенное ею 26 мая: «организовать на мѣстах комитеты, избранные всеобщим избирательным правом, для обсужденія аграрнаго вопроса». Аладьин, с обычной своей прямолинейностью, пояснил цѣль внесенія. «Нам нужно создать в странѣ ту силу, которая даст нам возможность побѣдить... Мы хотим привести русскій народ в то движеніе, которое остановить невозможно». С согласія того же Аладьина, предложеніе было благополучно сдано в комиссію. Но в печати спор разгорѣлся. И мнѣ пришлось особенно настойчиво высказаться против тактики лѣвых, вернувшись опять и опять к той-же главной темѣ наших споров: через Думу или мимо Думы. «Здѣсь наши дороги расходятся», повторял я нашим «друзьям слѣва». «Мы не вѣрим в возможность организованнаго выступленія масс в настоящій момент, и потому нисколько не хотим ни «поднимать ада», ни помогать нашим друзьям совершать тѣ подготовительныя мѣры, которыя, по их мнѣнію, могут им пригодиться для достиженія этой цѣли... Как ни непрочна на первых порах ткань конституціоннаго правосознанія, — эту ткань мы хотим укрѣплять, а не возвращаться вспять к стихійной силѣ Ахерона». Об этой нашей тактикѣ, к сожалѣнію, забывают, когда обсуждают роль к. д. в проведеніи Выборгскаго воззванія.

«Ткань», конечно, оказалась очень непрочной и об'единеннаго напора черносотенцев и большевиков, в концѣ концов, не выдержала. Неожиданно, в совсѣм иной обстановкѣ, выплыл проект «обращенія к народу», — настойчиво рекомендовавшійся слѣва, — и

конституціонная «ткань» была грубо разорвана. Но об этом рѣчь впереди.

Разсчитывали ли наши «друзья слѣва» на возможность «разгона Думы» в результатѣ их близоруких усилій? Говорилось об этом неоднократно,—но гордо заявлялось при этом, что этого исхода «бояться не слѣдует». В противуположность меньшевикам, большевики сразу утверждали двѣ противуположныя крайности. То — «Дума безсильна»; то, наоборот, она достаточно сильна, чтобы прогнать министров и декретировать всѣ нужные законы. То — «мобилизація всенароднаго мнѣнія и воли» есть *средство,* чтобы оказать «внѣпарламентское давленіе» на Думу; то Дума есть *средство, а цѣль* — организація воли народа. По одному варіанту Дума *должна* «об'явить министерство внѣ закона» и сама представить царю свой список министров. По другому — «крестьяне *должны* настоять на немедленном созывѣ аграрных комитетов». В самой Думѣ трудовая группа об'являлась, смотря по надобности, то «мелкой буржуазіей», то «революціонным элементом».

Лозунг «беречь Думу» не был в употребленіи в первой Думѣ. Его усвоили лѣвые — только во второй. В первой Думѣ старались «сберечь Думу» только одни кадеты. Естественно, что задача оказалась для них непосильной.

П. Милюков.

ПО СЛѢДАМ ПРОТОПОПА АВВАКУМА В СССР

Полезно, во всяком случаѣ любопытно, узнать, в какія условія поставлена работа в СССР для изслѣдователя по церковной исторіи. Возстановляю в памяти эту полосу своей жизни на русской землѣ в кругу русских, мой труд над Аввакумом.

КАК Я ОТКРЫЛ АВВАКУМА

В 1927 г. я служил в Москвѣ в Институтѣ Маркса и Энгельса.

Московскій барскій особняк Долгоруковых, что за Музеем Александра III, в М. Знаменском переулкѣ. Помѣщеніе передѣлано и богато оборудовано: три этажа — «кабинеты» всѣх стран и народов. Интернаціонал разношерстных «научных сотрудников» корпит над расшифровкой заковырчатых Марксовых «письмен» и коментаріем столпов научнаго соціализма. В распоряженіи занимающихся тщательно разставленные по желѣзным полкам десятки тысяч томов: экономика, обществовѣдѣніе, исторія переворотов и матеріализм — матеріализм вульгарный, матеріализм философскій, матеріализм историческій, матеріализм діалектическій, матеріализм...

Я во французском кабинетѣ приводил в порядок рукописи Гракха Бабефа и документы, относящіеся к этой судейской крысѣ, взбѣшенной революціей. Мнѣ и в голову тогда не приходило: Протопоп Аввакум! И по мѣрѣ того, как я тоже корпѣл над Бабефом, и так мнѣ все это осточертѣло, я нѣт-нѣт, бывало, и сбѣгу. А бѣгал я в подвал: там склад самых разнообразных книг или, попросту говоря, книги валялись, разбросанныя по полу, как их швырнули. Подлинный клад для книжных любителей и для тѣх, кто, не поддавшись одури «матеріализмов», сохранял свободу думать по-своему. Тут были и разрозненные тома аббата Миня: творенія греческих и латинских отцов; и древніе классики, и прелестныя по наивности записки Фонтэна о житьѣ - бытьѣ Пор-Рояля, и

по-русски (не славянское) Добротолюбіе. Роясь в книжных сокровищах, напал я на «*Житіе протопопа Аввакума, им самим написанное*». Изд. Археографической Комиссіи, 1916 г.

Чѣм меня протопоп притянул, не сумѣю сказать, только вынес я его из мерзости запустѣнія крысинаго подвала и унес в свой французскій кабинет. И в свободный час от крысинаго Бабефа стал читать эту «жизнь», вникая в непростую, а «просто» выраженную русскую рѣчь. Меня взволновала и сама «жизнь», и как она написана.

Как это все непохоже! И не такое давнее: русскій XVII вѣк. А сам «огненный» протопоп! Какая убѣжденность вѣры, какое желѣзо воли и прямого слова. И в мірѣ нѣт власти, а на землѣ властей, кто бы мог сломить такую вѣру и урѣзать язык. И костер такому — только царственный путь, а смерть — царскій вѣнец.

И еще остріе было мое чувство: вѣдь перед глазами «совѣтская дѣйствительность» — согнутая, запуганная, и раболѣпство с наушничеством и доносом — «подхалимаж».

«Житіе» Аввакума — Библія русскаго старообрядчества. Не было дома, гдѣ бы не хранился список: береженая книга — от Бѣлаго моря по Волгѣ, на Дону и на Уралѣ. Поколѣнія «послѣдней Руси» выростали на этой книгѣ.

Старообрядцы — это лишь остров среди «православнаго» моря русскаго народа, и там имени Аввакума не слышно. А интеллигенція? В исторіи, когда проходили «раскол»: рядом с патріархом Никоном упоминался и Аввакум. И только. Потом, как с физикой, все путалось: «удѣльный вѣс» — «торричеліева пустота», а Аввакум попадал в Даніила Заточника, а то и начисто стирался. «Житіе» извѣстно было только на вершинах: сохранился восторженный отзыв Тургенева, Толстого, Розанова, Мельникова - Печерскаго, Горькаго. В школьных исторіях литературы «житіе», как литературный памятник, не упоминалось. Так было у русских. А с французов и спрашивать нечего: единственный Ю. А. Легра в своей краткой исторіи русской литературы впервые дал по-французски нѣсколькихъ строк из «житія» — честь ему за начало.

Я и задумался: Бабеф Бабефом, а Аввакум не выходит из головы. И, наконец, рѣшил перевести «житіе» на французскій. Рѣшил, но понимаю: дѣло не простое. С этого и начинаются мои розысканія.

Аввакум — не реклама интуриста. Для перевода требуется не

только точно опредѣлить слова и выраженія, а еще и прочитать текст исторически: упоминаемыя лица, без справки о которых не обойтись; событія и намеки на событія, которыя надо установить хронологически; а цитаты из Священнаго Писанія, догматическіе и литургическіе споры... — так я и втянулся в работу историка и филолога.

ПО МОСКВѢ - НАУЧНОЙ

В Институтѣ Маркса и Энгельса нашлись двѣ книги: Диссертація об Аввакумѣ А. К. Бороздина и Очерк В. А. Мякотина. У Мякотина (родственник Аввакума) живо, но уж очень легко или, как говорят критическіе обозрѣватели, «нажимающіе педаль»: занимательно, но поверхностно. А Бороздин — все, что можно представить себѣ, как «недисциплинированное», что случается или у очень молодого: сгоряча; или с путанной головы у ученаго: безпорядочная и тяжеловѣсная мѣшанина (прошу прощенія за пришитыя слова!) біографических данных, культурно - исторических обозрѣній и текстуальной критики. Но Бороздин меня надоумил: теперь, послѣ прочтенія его книги, мнѣ было куда глаз обернуть и чего доискиваться или, говоря по книжному: Бороздин намѣтил мнѣ «точку отправленія». И за то ему благодарен.

О ту пору в Ученых Записках *Ранион* (Россійской Ассоціаціи Научно - Изслѣдовательских Институтов Общественных Наук) появилась статья профессора - антрополога В. К. Никольскаго о *Сибирской ссылкѣ протопопа Аввакума:* матерьял — по архивам, много новых и точных данных о протопопѣ.

Товарищ по кабинету, историк стараго закала, без набившаго оскомину казеннаго принудительнаго «матеріализма», обратил мое вниманіе на статью и познакомил с автором.

«Какой чудесный антирелигіозный фильм можно сдѣлать из жизни Аввакума. Хочу непремѣнно за это взяться!» — выпалил Владимір Капитоныч. И как отбрил.

Дѣло происходило на людях и, хоть никто за язык не дергал, как было не воспользоваться случаем и не засвидѣтельствовать свою «лояльность», или, употребляя оборот протопопа, запуганную «. . . душенку»? Тѣм разговор и кончился. А жаль: умный человѣк Владимір Капитоныч, и глаз без засоринки, ясный.

Я понимаю, мнѣ ли не знать человѣческую немощь, и не судьей с черствым сердцем, сухарем со своей безчеловѣчной спра-

ведливостью хочу быть в несчастьѣ, но передо мной неотступно стоит русскій образ — человѣк — литая громада блестящая, блистающая крѣпью, для котораго не надо никаких предохранительных мѣр или, по совѣтски, «окапываться»: протопоп Аввакум.

Книжный магазин «Международная Книга» на Кузнецком мосту. Разрѣшается не только посмотрѣть и руками потрогать, можно и пріобрѣсти книгу, — а попадают и очень цѣнныя. Надо только захватить во-время, а это возможно в первые дни послѣ выпуска книги, вѣдь доля из общаго тиража, поступавшая на внутренній рынок, была, что называется, символическая, и что по-русски наглядпѣе: на — выкуси! И вот, чтобы чего не проворонить, я от Бабефа, раньше как в подвал, теперь на Кузнецкій. И протоптал себѣ дорожку, шито-крыто, околом и проломом, как лиса в курятник.

На прилавкѣ: «*Памятники исторіи старообрядчества* XVII в. *Книга первая, выпуск I*». Раскрыл я книгу, и как носом повел по страницѣ, в глазах инда зарябило: Аввакум! — писанія протопопа Аввакума. Это была первая часть и притом большая его сочиненій (вторая так никогда и не вышла!). Тираж 900 экземпляров, начата набором в 1916 г.

Забрал я в «обѣ лапы» дорогую мнѣ ношу и уж не лисой, а медвѣдем прямиками по московским улицам и переулкам в Маркса и Энгельса. Там отодвинул я Бабефа, развернул книгу. Теперь я не безрукій: основной матерьял есть, — смѣшно было бы подумать, чтобы мнѣ да на попятный! И не перевод житія и даже с примѣчаніями, — я должен написать историческое изслѣдованіе.

Мысль написать изслѣдованіе так меня закружила, что на первых порах я даже собственную природную рѣчь, не то, что забыл, а вдруг точно затменіе, столбняк, стал и стою и отстать нѣту возможности, или гогочу без причины, видно, очень меня заняло, что ухватил быка за рога, — тогда-то и стали на Москвѣ поговаривать, будто какой - то заѣзжій на старых книгах... «Чего?» — «Каршыч, что усы в сосульках». У меня тоже с непривычки усы примерзали. «И немудрено, — говорили мудрые люди, — уж очень у нас требовательно. Если другой раз, и русскому человѣку хоть на стѣну лѣзь, а иностранцу — буржуазное ошмотье! — ни по чем не выдержать!

Я ходил по букинистам и забирал все, что касалось раскола,

все, гдѣ было про XVII вѣк и что относилось к исторіи русской церкви, и описанія монастырей, и древніе акты, изданные до революціи.

При нэпѣ открылись книжныя лавки, и хозяева охотно отдѣлывались от «нелегальнаго» товару: книг «божественнаго» содержанія. А на базарах можно было купить и рукопись.

В ту пору мнѣ посчастливилось: я пріобрѣл 1-й том *Матеръялов для исторіи раскола* Субботина; а в другом мѣстѣ попался IV-й и VI-й. В третьем — книги Сергѣя Бѣлокурова, на мой глаз самаго подробнаго и обстоятельнаго изслѣдователя - историка по XVI - XVII в. в.

В «Международной Книгѣ» комната до потолка набита старопечатными книгами: Кириллова книга, Книга о вѣрѣ, Поученія Ефрема Сирина и Аввы Дорофея, Скрижаль, Требники, Служебники, Маргарит, Жезл правленія, Грамматика Милетія Смотрицкаго — чего-чего не было! За какой-нибудь десяток рублей можно было все купить. И *спасти.*

Подтянул я поясок потуже — позабудь и пшенную кашу! — и набросился на рѣдкости. Вот когда мечтал я имѣть золотыя горы.

Но так уж заведено и положено: все, что имѣет начало, знает и конец. И только с пьяных глаз Китоврасу (читай в Палеѣ!) *) неизбѣжное — конец «безкончалом» показался, да еще моя старопечатная мечта не имѣла конца-краю. «Гнилому либерализму» между тѣм пришел конец: хозяин, всегда такой любезный, вдруг точно окрысился, дверь в старопечатную на ключ, руки за спину, «проваливай!» — и не только в старопечатную перестал пускать, а и в подвал, гдѣ для меня завѣтный стоял шкап, а хранились в шкапу пылью покрытыя в застежках книги старой вѣры и стараго пѣнія.

Страсть собирательства — душа книжника. Но в моем рвеніи — в этом добровольно - наложенном на себя постѣ, лишь бы ку-

---

*) О русском Китоврасѣ по-французски единственное образцовое по тщательности изслѣдованіе у А. А. Мазона: André Mazon, **Le nom du chamir dans la Légende vieux-russe de Salomon et Kitovras.** Mélanges publiés en l'honneur de Paul Boyer. Ed. Champion, éd., Paris, 1925; **Le centaure de la légende vieux-russe de Salomon et Kitovras.** Revue des Etudes Slaves, t. VII, Paris 1927.

пить книгу, было и не одно только книжное почитаніе, а и в родѣ как мѣра предосторожности.

Мнѣ понадобилась статья в «*Богословском Вѣстникѣ*». Заручившись рекомендаціей, я отправился в Библіотеку Московскаго Университета. Я был увѣрен, что с моей «бумажкой» никаких затрудненій не встрѣчу, и книгу мнѣ выдадут без задержки. А вот послушайте!

«Выдается только для антирелигіозной работы», — об'явил библіотекарь. И хоть выдать выдал, но с предупрежденіем: «В первый и послѣдній раз».

В Библіотекѣ Историческаго Музея я попросил статью о «Печатном Дворѣ» из «*Христіанскаго Чтенія*», и получил — вырванныя страницы первой части, а окончанія так и не мог добиться.

Должен сказать, в читальном залѣ библіотеки, расположенном под небесами, пространном и «стильном», куда по вечерам поднимались самоотверженные «вузовцы» читать «Извѣстія» и «Правду» или долбить свои убогіе учебники и руководства и гдѣ, кажется, я был единственный, кто требовал не «фальцифицированную» литературу, мнѣ немедленно выдавали, и исправно, и «*Чтенія Общества Исторіи и Древностей*», и «*Труды Археологическихъ с'ѣздов*», и провинціальныя изданія какой-нибудь Вятской или Тамбовской Архивной Комиссіи.

Влипнув в книгу, как жадный вонючій шмель в душистый пчелиный мед, глазами, носом и ртом в русских вѣках похеренной русской исторіи — вѣдь офиціально все начинается с Октября! — я забывал со своей вершины нижній совѣтскій мір; крик улицы не добирался до меня, не был помѣхой и сосѣд, некстати, но от добраго сердца, прерывавшій мою работу: «Товарищ, не желаешь-ли газету?»

А со стѣны на «пролетарскую публику» взирало картинно важное собраніе знатных разряженных лиц, штатских и военных, в мундирах, орденах и лентах, с папой Львом XIII и Александром III. Нюх не сразу обнаружил контр-революцію и пока-то не схватились, не занавѣшенной красовалась историческая фреска: глазѣй и удивляйся!

ПО АРХИВАМ

Всѣ слѣды — и никольскій, и бѣлокуров — вели в Архив. Когда-то в Москвѣ были извѣстны: Архив Министерства

Юстиціи, Архив М. Иностранных дѣл, да в Кремлѣ — Дворцовый Архив и Архив Оружейной Палаты, а в Петербургѣ — Государственный Архив. Нынче всѣ эти «фонды» с добавкой из других собраній сосредоточены на Пироговской, бывшей Царицынской улицѣ, за Дѣвичьим полем в Московском Древлехранилищѣ (б. Архив М. Юстиціи).

Доступ в это Древлехранилище — легче борову свиному проткнуться в игольное ушко. Пріѣзжему знатному иностранцу — хоть никакой науки и в хвост не нюхал, без никаких, пожалуйте; но своему, совѣтскому, а я совѣтскій служащій, как перед стѣной напрыгаешься, а сквозь — все равно не пройдешь.

Я использовал всѣ мои коммунистическія связи; рекомендательными письмами обклеился, как горчичниками. И в таком «горячечном» видѣ отправился в бывшую Синодальную типографію на Никольской — в Главное Архивное Управленіе.

Я должен был заполнить анкету.

Но что написать? Упомянуть по всей правдѣ? Но позвольте: «Раскол»?.. «Аввакум!» да еще и «протопоп»!! — да это как пить дать, уйдешь с носом, ни по чем не разрѣшат. Долго не раздумывая, — а видно «окапываться» такая уж необходимая и неизбывная совѣтская доля! — я по ихнему и ляпнул: «Соціально - экономическое положеніе Верхняго Поволжья в началѣ XVII вѣка». В этом моем экономическом ляпѣ была доля правды: Аввакум родом из Поволжья, мнѣ надо было просмотрѣть «Писцовыя книги». И я не дал маху: «экономика?» — это можно.

И был впущен в Древлехранилище, как благоразумный разбойник в рай.

На окраинѣ города в саду этот рай, который бережет в видѣ безчисленных рукописных книг и столбцов прошлое Россіи. В читальном залѣ видишь столик, за которым из-году-в-год послѣдній лѣтописец Сергѣй Михайлович Соловьев трудился над своей Исторіей. Три - четыре голодных оборванца (по-европейски!) согнулись над Писцовыми Книгами: они переводят на готовые бланки цифры жилых и пустующих дворов.

А вы знаете, что такое Писцовыя книги? Да к этим книгам и приступиться страшно: это все-равно, как с Миланскаго собора по лѣсам без перил спускаться! Толщина этой листовой бумажной громады — ни с одной книгой, и самой внушительной, несравнима, и Постная Тріод, и Апостол, и Напрестольное Евангеліе, все будет

мало; на полустанках, попадает, лежат под дождем и вѣтром сложенные куски прокатных рельсов, вот что напоминает. А уж присѣсть и не думай, такую книжищу можно перелистывать, но лишь в стоячку. А раскрыл страницу, — а там не строчки, не буквы, а узор по узору, крюк на закорючкѣ! — а это и есть *скоропись*, под'ячья рука: не понаторѣв, как темная грамота, ничего не разберешь.

«Скорописью учиться писать!» — завѣтное слово одного из самых хитрѣйших скорописцев, московскаго под'ячаго Гораздова, с Москва-рѣки из Приказа не докатилось от Набатной башни на Сену в Париж. А в Школѣ у П. Ю. Буйаэ в наше время еще не заведено было: курс славяно-русской палеографіи, — а вот бы когда пригодилось!

Оглавленій не полагается; села и деревни в уѣздѣ не по алфавиту, а по вотчинам — ищи-свищи! Да тут не только глаз себѣ своротишь, а и голова треснет. Не даром говорилось, на Москвѣ слышно, что на Писцовых книгах не один смѣльчак напоролся, а на тѣх, кто одолѣл Гораздова, пальцем показывали.

Полубояринов, завѣдующій читальной залы, не без ехидства спросил меня:

«Оставлять не нужно?»

Но мое рѣшеніе твердо, — и сама писцовая твердыня меня не остановила.

По Писцовым книгам Нижегородской губерніи я нашел и село Григорово («Рожденіе же мое в Нижегороцких предѣлех, за Кудимою рекою, в селѣ Григоровѣ»), и Лопатищи, и Макарьев монастырь; я узнал имена всѣх односельчан и духовных дѣтей Аввакума, и книги, и иконы его прихода, и многія подробности житья-бытья, и житія протопопа.

Одолѣв писцовую премудрость, я перешел к «столбцам» Сибирскаго Приказа. Столбцы, как вам это извѣстно, узенькіе листки, краями склееные в одну безконечную ленту, — есть коротенькіе, а есть и в нѣсколько десятков метров (а бывали саженные, про это я потом узнал уже здѣсь, в Парижѣ, от забѣглых русских «срезневской культуры»: свиток «Уложенія царя Алексѣя Михайловича» 434 арш. длины, посланіе патріарха Іосифа королевичу Вольдемару о принятіи православной вѣры, на столбцах — в 48 саженей).

Часть столбцов ученые архивисты расклеили по листам, и не

без путанницы, а часть осталась неприкосновенно, и приходится раскатывать — и побѣгут они по-столу, а со стола на пол юркими ужами.

Я пользовался описаніем Оглоблина, прекрасно составленным и все-таки недостаточным. И не мало развернул я столбцов, чтобы добраться до воеводы Пашкова, гонителя и мучителя протопопа Аввакума в Даурiи. Только с этими документами я мог освѣтить признанія Аввакума о его даурском мытарствѣ.

Перебирая столбцы, понаторѣл я на скорописи. Работа не в пустую пошла, и не хвастовства ради скажу, удавалось с черновиками справляться и прочитывать перечеркнутое — ясное лишь заправскому под'ячему Сибирскаго Приказа Грѣшищеву.

Чтеніе столбцов увлекательно, как святочные орѣхи, не оторвешься. А для меня и вдвое: каждый раз мнѣ хотѣлось в поисках моих как можно больше, захватя из этих ужей, успѣть до закрытія зала.

И потом, очутясь за «вратами рая»—Московскаго Древлехранилища, я, часами погруженный в вѣка, не мог повѣрить своим «отведенным» глазам, что на московских улицах ходят не стрѣльцы, «холопи великаго государя», а милиціонеры, совѣтскіе служащіе, рабочіе, бывшіе люди, лишенцы и господа — вѣдь рожи, рыла и лица все тѣ же, на одну мазь, русскія.

НЕИСТОВЫЯ РѢЧИ

Из прочитанных столбцов, даже и не относящихся к моим поискам, я всегда что-нибудь получал, хотя бы только слово или выраженіе. Но однажды подвалило большое счастье — мнѣ показался клад:

Как и почему 15 сентября 1656 Протопоп Аввакум бит кнутом на козлѣ

Неизданное донесеніе воеводы Афанасія Пашикова и челобитная Даурских казаков. Архив Сибирскаго Приказа, ст. 508, лл. 184 - 187; 188 - 193.

Государю царю і великому князю Алексѣю Михайловичю всеа великія і малыя і бѣлыя

Росіі самодержцу и государю благовѣрному царевичю і великому князю Алексѣю Алексѣевичю всеа великія і малыя і бѣлыя Росіі холопъ вашъ Ѳоонка Пашков челомъ бьетъ.

В прошломъ, государи, во 163 (1655)-м году по вашему государеву указу послан я, холоп вашъ, на вашу государеву службу в новую Даурскую землю да со мною, государи, розных Сибирских одиннатцати городовъ і острогов служилые люди.

Да по вашему государеву указу послан іс Тобольсково города в Даурскую землю роспопъ, что был протопоп,Аввакумко и из Енисѣйсково острога велѣлъ, государь, я ево взять с собою.

І въ нынешнем, государи, во 165 (1656-м году сентября въ 15 день, как я, холопъ вашъ, буду по Тунгуске рекѣ, не дошед Братцково острогу, на Долгом пороге, і тот ссылной роспопа Аввакумко, умысля воровски невѣдомо по чьему воровскому наученю, писалъ своею рукою воровскую составную память глухую безымянно, бутто, государи, вездѣ в началных людех, во всѣхъ чинѣхъ нѣтъ никакия правды. І иныя, государи, многия непристойныя свои воровския рѣчи в той своей потметной памяти написалъ, хотя в вашей государевой Даурской службе в полку моемъ учинить смуту.

И то, государи, знатно, что он, вор распопа, тѣмъ своимъ воровъскимъ писмомъ хотѣлъ приводить служилых людей на то, чтоб онѣ вамъ, государемъ, изменили і вашево б государева указу не послушали і от меня б, вашево холопа государева, отказались і были б не под вашим государевым указом: такъ же, какъ и іс Сибири из-Ылимсково острога такия ж воры, что і он, распопа, Илимской казакъ Мишка Сорокин прибралъ

к себѣ воров триста тритцать человѣкъ і вашъ государевъ Верхолѣнской острогъ і многих торговыхъ людей пограбили; такъ же, государи, что і на Бойкале озере такия ж воры Енисѣйския служилые люди Ѳилка Полетай с товарыщи пятдесят человѣкъ, пограбя вашу государеву казну і сына боярсково Василья Колесникова, ограбя, покинули на реке Прорве і побежали в Даурскую землю собою.

І то, государи, ево роспопино воровское писмо ево руки по сыску принесено ко мнѣ, холопу вашему, и по вашему государеву указу, я, холопъ вашъ, велѣлъ ему, вору роспопу, учинит наказне бить кнутом на козлѣ, чтоб, государи, на то смотря, іныя такия ж воры впред в ваших государевых ратех нигдѣ такими ж воровскими писмами смуты не чинили.

І какъ, государи, ему, вору роспопе Аввакумку, по вашему Государеву указу давано наказане бить кнутом на козлѣ, і он, распопа, своим же воровским умыслом хотя служилых людей со мною ссорить, говорилъ в то время: „Братцы казаки, не подайте!"—бутто он, вор, на них, служилых людей, в том своем воровствѣ надежен. І иныя, государи, многия неистовыя рѣчи говорил он, вор, почасту.

А по вашей государевой соборной уложеной книге довелся он, вор роспопа, за то ево воровьство і за многие неистовые рѣчи смертные казни. І я, государи, холоп ваш, без вашево государева указу тому вору совершенново вашево указу учинит не смѣю.

Да к тому жъ, государи, вору роспопе для ево воровсково умыслу і заводу учели было приставать такия ж воры і завотчики Томьсково города служилой человѣкъ Ѳилка Помелцов, Березовьсково города Микиѳорко

Свѣшников, Івашко Телной с товарыщи. І я, государи, по вашему государеву указу тѣхъ ево роспопиныхъ друзей воровъ і завотчиков Березовсково города Микиѳорка Свѣшникова, Івашка Телново с товарыщи с вашей государевой служьбы в поход іс полку своево выслалъ вонь. А пущему вору і завотчику Томсково города служилому человѣку Ѳилке Помелцову велѣлъ учинить наказане — бить кнутом на козлѣ нещадно і отпустил ево в Томьской город. А въ их, государи, мѣста на вашу государеву службу прибралъ і поверсталъ в казачью службу охочих волных людей.

А ево, вора распопу, отдал за пристава і по вашему государеву указу взял в Даурскую землю. І впред, государи, от такова вора распопы в вашей государевой далней Даурской службе чаешь такова жъ воровсково заводу і большова дурна. Да на нево ж, государи, вора распопа, били челомъ тебѣ,великому государю царю і великому князю Алексѣю Михайловичю всеа великія і малыя і бѣлыя Росиі самодержцу, а мнѣ, холопу вашему, в походе полку моево сжлужилые люди подали за руками челобитную. И я, государи, холопъ вашъ, тое их челобитную под сею отпискою послал к тебѣ, государю царю і великому князю Алексѣю Михайловичю всеа великія і малыя і бѣлыя Росиі самодержцу и государю благовѣрному царевичю і великому князю Алексѣю Алексѣевичю всеа великія і малыя і бѣлыя Росиі к Москве в нынешнем во 165 (1656)-м году июня в 4 день полку своево Даурские службы с служилыми людми з десятники казачьи Туринсково острога с Микиткою Максимовым, Кузнецково острога с Потапком Ѳедоровым.

И о том ворѣ роспопе Аввакумке великій

государь царь і великій князь Алексѣй Михайлович всеа великія і малыя и бѣлыя Росіі самодержецъ и государь благовѣрный царевичъ і великій князь Алексѣй Алексѣевичъ всеа великія і малыя і бѣлыя Росіі мнѣ, холопу своему, какъ укажете.

На оборотѣ другой рукой:

166 (1657) октября въ 27 день з Даурским казаком с Микиткою Максимовым.

. . . . . .

За донесеніем Пашкова слѣдует челобитная служилых людей. Перечисляются одиннадцать сибирских городов (Тобольск, Томск, Тюмень, Тара, Верхотурье, Березов, Пелым, Сургут, Туринск, Кузнецк, Красноярск), десятники и рядовые, а всего 420 человѣк. Разсказ ведется от их имени, но словами воеводы Пашкова, как «во 165 (1656)-м году, сентября в 15 день, как будем мы, холопи ваши государевы, по Тунгуске рекѣ, не дошед Брацково острогу...»

Отмѣчу разночтенія. Послѣ слов Пашкова: «Аввакумко, умысля воровски невѣдомо по чьему воровскому наученю,писалъ...» — они добавляют: «іли будет, государь, затѣел сам собою, хотя в вашей государевой службе промеж вашим государевым воеводою Ѳѳонасьем Ѳилишовым с нами, холопями вашими, учинить смуту....» Шестой абзац читается по другому: «И то, государи, ево роспопино воровъское писмо ево руки по сыску обевилось перед вашим государевым воеводою Офонасьем Ѳилишовым и за то, государи, ево воровство по вашему государеву указу вашъ государевъ воевода Ѳѳонасей Ѳилипповъ велѣлъ...» — Послѣ слов Аввакума: «Братцы казаки, не подайте!» — в челобитной прибавлено, как объясненіе: «буттось государи, мы тѣ ево воровьския писма вѣдаемъ і он, вор, буттось на нас, холопей вашихъ государевых, в том своем воровствѣ надежен». — И окончаніе: «А мы, холопи ваши государевы, служить вам, государемъ, вашу государеву Даурскую службу готовы і от вашего государева воеводы Ѳѳанасья Ѳилишпова обиды і насилства к нам никакия нѣтъ і впредь ваши государевы службы с ним, воеводою, служить готовы». — И требуют высшей мѣры наказанія (старая пѣсня!): «Велите своему воеводе...

ему, вору і завотчику і ссоршику распоспопе... по вашему государеву указу і по уложенной соборной книге свой государев совершенной указ учинить, чтоб нам, холопям вашим государевым, от такова вора и завотчика в том его воровском подметном писмѣ от вас государей в опале не быть... Смилуйтесь, государи, пожалуйте!»

На оборотѣ челобитной руки приложили служилые люди, десятники и рядовые, во главѣ с Даурской службы черным попом.

Не могу удержаться и не отмѣтить правописаніе: писали по слуху, как говорили. А это и есть самое важное: послушать, как говорилось по-русски в XVII вѣкѣ: «розных», «ево», «Тобольсково», «роспоп», «Енисѣйсково», «Братцково острогу», «ссылной», «Аввакумко», «писал память глухую, безымянно, бутто», «людех, чинѣх нѣт никакия правды», «потметной», «чтоб онѣ вам, государем», «вашево», «іс», «из-Ылимсково острога», «Ілимской казак», «на Бойкале», «с товарыщи» «боярсково», «побѣжали в Даурскую землю *собою*», «ратех», «давано наказане», «бутто он, вор, на них, в том своем воровствѣ надежен», «говорил неистовыя рѣчи почасту», «по соборной уложеной книге довелся он смертные казни», «совершенново», «для ево умыслу и заводу учели было приставать такия ж воры и завотчики», «Томьсково городу», «Березовьсково», «ис полку своево выслал вон», «а пущему вору и зазавотчику», «а в их мѣста на вашу государеву службу прибрал и поверсталъ в казачью службу», «чаешь такова ж воровсково заводу і большова дурна», «на нево ж», «всеа», «Росиі», «своево» «з десятники», «Кузнецково», и «и о том ворѣ мнѣ, какъ укажете», «Брацково острогу», «обевилось», «затѣел», «Ѳѳонасьем», «Аѳанасьем», «буттось на нас в том своем воровствѣ надежен», «обиды и насилства к нам никаких нѣт», «ссоршику», «наученю», «подайте».

Еще отмѣчу путь: — Пашков отослал свое донесеніе 4 іюня 1656 г., получено оно в Москвѣ 27 октября, — значит, шло 4 мѣсяца и 3 недѣли. А из Тобольска можно было добраться до Москвы зимним путем за 3 недѣли.

МОСКВА СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ

Слѣдовало бы описать и другой архив, Синодальный или точнѣе Патріаршій, перевезенный в революцію и не без ущерба из Кремля в Историческій Музей. Преданный своему дѣлу, сердитый

хранитель архива, неизмѣнно в своей солдатской шинели, — с ним однажды мы столбец разбирали, сам чорт голову сломит, такой черновик, а и клюкнул под'ячій видно здорово! — три дня над загагулинами бились. Сборники Хлудова, Уварова, древнѣйшія славянскія и греческія рукописи — богатства несмѣтныя, но и раньше-то мало использованныя, а нынче просто плевать!

Слѣдует упомянуть и мою поѣздку в Петербург. Книги по расколу продавались в тѣ годы — даром бери, а какія! Кое-что удалось мнѣ и с Невы собрать, одно горе: так, без денег, все-таки ничего не получишь.

По архивам и книгам можно возстановить исторію — раскол; с чего началось и произошло, как происходило и чѣм закончилось. А вѣра неизыскома — старая вѣра нерушимо жива. А живет она по-преимуществу на Москвѣ.

Вечерами я отправлялся в дальнее путешествіе на Рогожское кладбище. В трамваѣ куда было-б быстрѣе, но за то на своих на двоих несравненно пріятнѣе.

Как с Солянки подыматься в Таганку, каждый камушек не булыжником лежит, а исторіей, да не той, что из архивов и книг в глаза прет, а «неписанной», обыденной с житьем - бытьем - поживаніем. На самой Швивой (Вшивой в просторѣчіи) горкѣ над серебряниковской Яузой высоко над седмихолмным, обреченно поблескивающим куполами городом, Никита Мученик за своей оградой, сердце замирает, глядя на этот освященный каменный памятник все той же «послѣдней Руси» — стоит ли он по-старому или и его, бѣднягу, не пощадили, и как сплюнули в Яузу? А дальше сквозь вѣка читаю и как будто в старинѣ живу — Косьма и Даміан в Старых Кузнецах, Успеніе в Гончарах, Никола на Болвановкѣ, Спас в Чигасах.

Помнится, у Спаса ученицы совѣтской трудовой школы хоронили свою подругу. Священник громко журил мальчугана. И я спрашиваю себя: почему, в самом дѣлѣ, совѣтской власти, была б она не горе - марксистской, а народной совѣтской властью, открещиваться от этого Спаса? В этих народных старинных церквах служил по старым книгам Аввакум, и тѣ, кто вѣрил с ним и исповѣдовал старую русскую вѣру, и стрѣльцы справляли тут свои побѣды. На моих глазах одна за другой эти «народныя» церкви осквернялись — или закроют, или снесут. Но душу развѣ можно «погасить»?

В кольцѣ желѣзных дорог Рогожское кладбище.

В каменных церковных домах квартиры служащих Нижегородской дороги. На кладбищѣ все еще плесневѣют и мшатся плиты, урны, кресты — Рахмановы, Кузнецовы, Морозовы (Хлудовы — в Покровском монастырѣ) и на крестах надпись из канона: «Крест всѣм воскресеніе. Крест падшим исправленіе, страстем умерщвленіе и плоти пригвожденіе. Крест душам слава и свѣт вѣчный. Аминь». Тѣ же самыя слова, что стоят в житіи Аввакума вступленіем к его повѣсти: «многострадальный юзник темничной, горемыка, нужетерпец, исповѣдник Христов, священно - протопоп Аввакум». Особо от мірян духовныя лица, на их крестах указан возраст.

Зимній храм превращен в столовую. Служили в лѣтнем. На дверях надпись: «Не принадлежащим к правой вѣрѣ не молиться!» А какія собраны иконы, не забыть мнѣ одну особенно: «Спас-Ярое око». Я присутствовал при крещеніи: кругом на купели зажженныя свѣчи, хожденіе посолонь, долгія молитвы.

По субботам и в воскресенье с'ѣзжались с разных концов бородачи в черных сорокосборках, приходили и здѣшніе, они ютились тут же в деревянных домишках. С этими я скоро сошелся, и они мнѣ не отказывали в книгах: «Виноград Всероссійскій» на гектографѣ, старообрядческіе журналы, листовки — и много еще такого, чего нигдѣ нельзя было достать. А на Требник Петра Могилы только посмотрѣть позволили: руками не трожь!

Тяжелыя бывали встрѣчи: я, хоть и совѣтскій, но почти свободный, и я всей душой и сердцем с ними, но я могу уѣхать, вернуться к себѣ на родину, а они, на своей родинѣ, затравленные, запуганные, забитые, они еще нищѣе послѣдних невольников и рабов, они как назначенный к убою скот, с которым незачѣм считаться и можно оскорблять безнаказно.

Много от них получил я, от их «науки» — про старую русскую вѣру. Я возвращался с Рогожскаго ночью — еще безрадостнѣйшее ожидало меня в этом безрадостном русском мірѣ на русской землѣ. Нэпу подходил конец: «ликвидація кулака» и «коллективизація» — вот затѣя еще и еще помудровать над человѣком, благо, что «человѣк», — и скот того не выдержит, падет, а человѣк терпѣлив, и живуч, и безпамятен.

Побывал я и на Преображенском кладбищѣ. Там одна часовня; она раздѣлена: по субботам в одной половинѣ служат нико-

ніане, в другой — безпоповцы. И тут мнѣ показалось, что я погрузился: к самому Стоглаву, к Епифанію Премудрому, к Рублеву, к Сергію Радонежскому и Алексѣю митрополиту, в русскій вѣк татар.

У «австрійцев» на Рогожском, я не сомнѣваюсь, служба шла без сокращеній по уставу или, в угоду времени, чуть - чуть, и распѣвы были старинные, а служил во всем своем великолѣпіи архіерей, звенящій бубенцами. А на Преображенском «большак» в черном кафтанѣ, а за иконостасом пустое мѣсто — ни жертвенника, ни престола: нѣт священства, и литургіи служить некому, и не вѣнчают, и только «часы». Порядок службы описан у Мельникова-Печерскаго в его «В Лѣсах», точнѣе не скажешь. Как обычно, мужчины стоят по одну сторону, женщины по другую — в бѣлых и черных платках; а крестятся, творят метанія (без упражненія не одолѣть!) и, подбрасывая подручники, кладут земные поклоны, только когда полагается по уставу, и всѣ враз.

А какое чудесное пѣніе — к моему горю мнѣ не привелось в Успенском соборѣ слышать древній столповой распѣв, о котором уже здѣсь, в Парижѣ, один забѣглый русскій, именующій себя «учителем музыки», прожужжал мнѣ всѣ уши! — не знаю, какой тут был распѣв — «знаменный»? но, вслушиваясь, я невольно вспомнил наших бенедиктинцев, григоріанское пѣніе, и в моей душѣ перекликнулся Первый Рим и Третій - Москва едиными устами: «Боже, Боже мой, вскую остави мя далече!»

Служба длилась долгая. Выходили, задымленные душной кацеей, садились с зелеными глазами на лавку в саду и, передохнув, плелись в часовню. Я не выстоял до самаго конца. Я ушел потрясенный: старая русская вѣра! нѣт, больше! — я почувствовал и понял вѣру человѣка, ея силу и ея власть.

НА РОДИНѢ АВВАКУМА

«Село Григорово, что было за околничим за Ѳедором Васильевичем Волынскимъ в вотчине, а нынче за сыном ево за Иваном... а село стоитъ на трехъ усадахъ, а между усадов ключь; а в селѣ церковь страстотерщовъ Христовых Бориса и Глѣба древяна... Образы и книгі и ризы и сосуды церковные и колокола строеніе мирское... да у церкви ж живут нищие, а питаютца от церкви Божіи...»

Провѣрить данныя Писцовой книги (№ 296) я поѣхал по Казанской дорогѣ в Арзамас. А из Арзамаса пѣшком «по горам». По

пути село Вельдеманово, гдѣ родился Никон. Не обошел. Село по оврагам и буеркам, в садах; новая церковь, но есть и «роскольники»: и пріемлющіе священство, и безпоповцы. О Никонѣ живо еще преданіе, что происходит он из семьи суровой, нелюдимой: Ековы.

С трудом добрался я до Григорова: и в правду, горы; без пастухов не найти было, они мнѣ дорогу указывали. Село на трех холмах, посреди — пруд. Церковь тоже новая, XVIII вѣк, колокольня отдѣльно.

Видѣл я в церкви древнія потемнѣвшія иконы — к ним Аввакум прикладывался! Узнал, что на селѣ живут его родственники: Темные. Думал разыскать их, да и со священником поговорю. Но этого не удалось.

1930 год разгар «коллективизаціи», мудрено и не безопасно было по деревням расхаживать. Для ночлега я намѣтил себѣ школу, а это не так - то просто оказалось. Собрался совѣт, потребовали документы, и долго засѣдали, пока не вынесли рѣшеніе: можно. А на утро, когда я сообщил учительницѣ о Темных и о священникѣ, она не на шутку струхнула, словно бы открыл я ей свой план не изслѣдователя, а «вредительскій». И поспѣшила увести меня с собой в Мурашкино. Я все-таки до отхода попытался увидать священника, но сколько ни стучал, — безотвѣтно.

Не буду занимать разсказом о моих странствованіях страдным лѣтом 1930 года по Нижегородской губерніи, в мѣстах громких в исторіи раскола. Побывал я в Княгининѣ и в Лысковѣ, и в Макарьевѣ — Желтоводском монастырѣ, — там и из поруганных развалин все еще сіяет былое благолѣпіе!

Скажу о Лопатищах — в них начало служенія и проповѣди Аввакума.

От Работок на Волгѣ за час дошел я до большого села — это и есть Лопатищи.

— Гдѣ поп живет? — спросил я у дѣвочки, она глазѣла на меня, как я на кооператив, школу и церковь новой постройки.

— Попа нѣту.

— Как нѣт?

— Закрыли церковь! — нахмурилась и убѣжала.

Я ходил по селу, глазѣя. И вдруг — из самой бѣднющей избы показалось: какой-то в выцвѣтшей грязной рясѣ, худой и высокій, и оттого, что так худ, еще выше казался, а от вз'ерошенности — страшнѣе; он посмотрѣл такими «жалостными» глазами —

и как смотрѣл он, — от переполненности пропадом и страхом эта жалостность скручивалась безумным огоньком. И я тогда убѣжал, как дѣвочка, нахмурившись.

Ни в Григоровѣ, откуда Аввакум ушел еще до священства и никогда не вернулся, ни в Лопатищах, гдѣ он «пас Христовых овец» семь лѣт до 1652 г., ни на родинѣ, ни на мѣстѣ служенія, нельзя было найти живых его слѣдов.

А Волгу я узнал и полюбил. И еще сошелся с нижегородскими крестьянами, проводя лѣтніе мѣсяцы в теченіе нѣсколькихъ лѣт в Заволжской деревнѣ. За все, что они мнѣ дали, за все, что храню от них, и сохраню, я возвращаю им моим трудом — книгой о священномученикѣ русскаго народа протопопѣ Аввакумѣ.

П. Паскаль

P. S. — *Статья П. Паскаля: «По слѣдам протопопа Аввакума в СССР» написана по образцу и слогом журнальныхъ статей — без краски и «живописанія», чего, впрочем, и не требуется от ученаго. Взяв для просмотра рукопись и сковырнув два-три выраженія на русскій лад, затѣял я переписать. А как стал переписывать — инок ли Троице-Сергіевской Лавры Епифаній Премудрый, (нач. XV в. автор «Житія Стефана Пермскаго») — первый русскій писатель* **книжной рѣчи**, *наш первый словесный искусник, надо быть, толкал меня под руку, или сам протопоп, первый русскій писатель* **живой рѣчи**, *Аввакум подзуживал? — переписываю и вижу: пишу по своему, а отстать не могу. А как еще раз на бѣло взялся (люблю переписывать!), тут уж самисобой и вавилоны и заковырка — под стать росчерку — и прет и гонит. И получилось: в родъ — «Как дошел я до Аввакума в СССР-ѣ». Мысли и факты я сохранил неприкосновенно буква-в-букву и всѣ тѣни и оттѣнки, и все житейское из той «совѣтской дѣйствительности» (1927-1933) — ничего не навязываю, ничего не присочинил. Конечно, без «беллетристики» не обошлось, а это и без указки всякому в явъ и в слух, и за нее в отвѣтъ я. Вѣдь цѣль искусства — подписываюсь под Новалисом в лад с сверкающим словами Епифаніем Премудрым — никак не в содержаніи, а выполненіе.*

Алексѣй Ремизов

ТЮТЧЕВ И РОССІЯ

Казалось бы, всѣм извѣстно, что думал Тютчев о Россіи и какой любовью он ее любил. Славянофильскія мечты и ура - патріотическія чувства, коими вдохновлены многіе из нелучших его стихов, как будто не оставляют на этот счет никаких сомнѣній. В том же свѣтѣ воспринимают обычно и его французскія статьи, а эпиграммы и **bons mots**, противорѣчащіе им, легко истолковываются, как обычное фрондерство. На самом дѣлѣ, однако, нѣт у нас писателя, чье отношеніе к Россіи было бы противорѣчивѣй и сложнѣй. Это раскрывается в его письмах, читаемых мало, хотя только в них и дается ключ ко многим сторонам его личности и творчества *). С их помощью можно попытаться проникнуть в одну из тютчевских тайн, идя от поверхности к глубинѣ, от наружнаго слоя к тому, что скрыто под ним, а оттуда, быть может, и к третьему, еще болѣе глубокому.

1.

Один из самых удивительных парадоксов тютчевской жизни (и всей исторіи поэзіи) заключается в том, что ум его, во всю эту жизнь, был по настоящему занят одним: политикой. Источник поэтическаго творчества в душѣ его не оскудѣвал до послѣдних дней, но вниманіе его ума, если когда-либо направлялось на литературу, хотя бы и стихотворную, то лишь в молодости, и то не настолько, чтобы сдѣлать его литератором или хоть внушить ему заботу о судьбѣ собственных стихов. Ни к каким писательским группировкам Тютчев не принадлежал, ни одной строчки на русском языкѣ,

*) Прежде всего я, конечно, имѣю в виду письма к его второй женѣ, рожд. баронессъ Пфеффель (по первому мужу Дернбург). Они были изданы во время войны в четырех выпусках малораспространеннаго журнала «Старина и Новизна», к сожалѣнію, с пропусками и вообще довольно небрежно. Небезупречен и сдѣланный для этого изданія перевод их французскаго текста. Цитаты из них я привожу либо в подлинникѣ, либо в исправленном переводѣ.

кромѣ стихов, не напечатал. Отзывы о литературных произведеніях в его перепискѣ рѣдки и случайны, и ни одного общаго сужденія по литературным вопросам он, кажется, никогда не высказал. Европейскую поэзію, как это видно по упоминаніям, намекам, переводам, знал он хорошо, но то была духовная пища, издавна усвоенная его геніем, а не предмет его размышленій, и даже не то, чѣм заполнял он свой досуг. В 1847 году, во Франкфуртѣ, Жуковскій читал ему свой перевод «Одиссеи», и он писал женѣ, что при этом случаѣ ему была возвращена «давно дремавшая способность искренно и полностью отдаваться чисто - литературному наслажденію». Двѣнадцать лѣт спустя он жалуется ей-же на Москву, «город архи - литературный, гдѣ вся эта пишущая и читающая братія слишком уж принимает себя всерьез», так что очередное засѣданіе Общества Любителей Россійской Словесности кажется важнѣй, чѣм «грозныя событія, готовящіяся на Западѣ».

Для Тютчева событія, почти всегда грозныя на его взгляд и угрожающія Западу едва ли не больше, чѣм Россіи, были тѣм, что всю жизнь заставляло работать его ум с наибольшим напряженіем и страстностью. Деревенской жизни бѣжал он именно потому, что не мог обойтись без новостей, газетных депеш, без политических толков, слухов и предсказаній. В перепискѣ с женой политика господствует над всѣм, даже над свѣтской жизнью, ревматизмом и дурной погодой. Восемнадцатилѣтній студент уже увлечен «восточным вопросом», и Погодин записывает в свой дневник его сужденія о греческом возстаніи и судьбѣ Турціи: «Цѣлый народ выгнать трудно. Проѣзд цѣлаго народа через Мраморный пролив будет занимателен». А старик, разбитый параличем, незадолго до смерти, еще «жаждет, — по словам Аксакова,—говорить о политикѣ и общих вопросах», опять - таки политических, диктует на эти темы глубокомысленныя письма своим заграничным корреспондентам и даже свою болѣзнь называет, как не всякому придет в голову —«мой Седан». Годы, проведенные на дипломатической службѣ, уже потому даром не могли пройти, что, повидимому, отвѣчали исконному его призванію. Политика, увлекающая Тютчева — внѣшняя политика; вопросы, интересующіе его — международные вопросы. Он и Россію, поскольку созерцает ее разумом, видит, прежде всего, как государство, а в государствѣ этом самое важное для него не внутреннее устройство, а внѣшнее могущество и вліяніе. Патріотизм его, из чувства превращаясь в мысль, Рос-

сію мыслит не иначе, как мощным рычагом европейской и міровой политики. Этим и опредѣляется отличіе его, в исходной точкѣ болѣе, чѣм в выводах, от ближайших единомышленников его, славянофилов.

«Милый, умный, как день умный, Ѳедор Иванович» (так поминал его Фет) со славянофилами дружил, выдал за одного из них старшую дочь, но недаром, должно быть, голова Аксакова под вѣнцом показалась ему похожей на «деревянную раскрашенную куклу, изображающую Карла Великаго»: зятя он цѣнил и тот почитал тестя, но в біографіи, памятникѣ их духовной связи, «безцѣннѣйшій Иван Сергѣевич» все же довольно замѣтно упростил и личность ея героя, и его мысль. Уже за семь лѣт до этой свадьбы, в 1858 году, Тютчев, в письмѣ к женѣ, сѣтовал на многословіе и вѣчныя повторенія своих соратников, собравшихся у Хомякова, а в 1870 году ей-же писал о нѣкоем «славянском обѣдѣ», на который не пошел, «дабы не подвергаться скукѣ слушать безполезное и даже смѣшное пережевываніе общих мѣст, тѣм болѣе, мнѣ опротивѣвших, что я и сам отчасти в них повинен». Он прибавляет, что люди и вообще перѣдко дѣлают для него непріемлемыми его собственныя мнѣнія и что он особенно цѣнит тѣх, кто, как Самарин, такого впечатлѣнія на него не производят. Конечно, в сужденіях этого рода многое проистекает из простого раздраженія, которому подвержен всякій мыслящій человѣк, убѣдившійся в том, что и так называемые единомышленники его не застрахованы от недомыслія. Однако в расхожденіи Тютчева со славянофилами, болѣе существенном, быть может, чѣм казалось обѣим сторонам, было и нѣчто другое, нѣчто, в силу чего славянофилы должны были являться Тютчеву в образѣ нѣсколько провинціальном, а сам он представляться им слишком уж петербургско - царскосельским человѣком, и даже попросту человѣком западным.

В 1830 году Иван Кирѣевскій писал о нем из Мюнхена домой: «Он мог бы быть полезен даже только присутствіем своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам». Сходные отзывы повторялись не раз, и, конечно, Тютчев был европейцем не только в том смыслѣ, в каком это можно сказать (и потому неинтересно говорить) о любом русском образованном человѣкѣ новаго времени. Во всем, что касается мысли, он был европейцем не только сквозь Россію, но и непосредственно, и как бы от Россіи независимо. Он не только усвоил европейскую

культуру, но и европейскую землю чувствовал своей землей. Мыслил он европейски, т. е. исходя из цѣлаго Европы, просто потому, что иначе мыслить не умѣл, и Россія была для него хоть и восточной Европой, а Европой. Настоящій Восток был ему чужд, и ничего азіатскаго он в русском не искал. Еще за два мѣсяца до смерти он писал в Париж княгинѣ Трубецкой: «Мы тут заняты чествованіем шаха персидскаго. Что до меня, то всѣ эти полу-варварскіе восточные люди не внушают мнѣ ничего, кромѣ ужаса и отвращенія». Другой культуры, кромѣ европейской, он не знает. «Большое неудобство нашего положенія, — пишет он Вяземскому, — заключается в необходимости для нас называть именем Европы то, что слѣдовало бы называть не иначе, как его настоящим именем: цивилизація». Это значит, что Тютчев не одобряет русскаго нарочитаго европеизма, т. е. рабскаго подражанія Западу, но это значит также, что двух цивилизацій, двух культур, русской и западной, для него нѣт, а есть лишь одна, европейская, одинаково принадлежащая Западу и Россіи. Судьба этой общеевропейской цивилизаціи и есть то, что волнует его всю жизнь; заботами о ней вызваны самыя глубокія и пророческія его мысли, вродѣ той, что была им высказана женѣ во время франко-прусской войны, о нелѣпости, моральной невозможности войны «en pleine civilisation»:«Это — как бы публичный опыт людоѣдства. Самая правильность, вводимая цивилизаціей во всѣ эти избіенія и грабежи, дѣлает их еще болѣе омерзительными».

Достойно вниманія, что всѣ три тютчевских статьи по внѣшне-политическим вопросам написаны не столько с точки зрѣнія русских интересов, сколько с точки зрѣнія интересов европейских; и то же, вѣроятно, можно было бы сказать о его книгѣ «Россія и Запад», если бы он удосужился ее написать. Письмо, адресованное в 1844 году редактору «Gazette Universelle d'Augsbourg», всецѣло посвящено нѣмецким дѣлам и рекомендует германским государствам такую политику, которая, прежде всего, должна пойти на пользу им самим. Докладная записка о «Россіи и революціи» тоже имѣет в виду, прежде всего, Германію, которую Россія призвана защитить от наступающих на нее из Франціи революціонных идей, а может быть и войск. Наконец, статья «Римскій вопрос», напечатанная в «Ревю дэ де Монд», вдохновлена тревогой за судьбу католичества и убѣжденіем, что его спасет лишь воссоединеніе церквей и проистекающій из него союз с несокруши-

мым православным царствомъ. Правда, всѣ эти статьи, наброски к ненаписанной книгѣ, как и политическіе взгляды Тютчева вообще, покоятся на вѣрѣ в провиденціальное призваніе Россіи и в великое будущее россійской имперіи; однако, характерно для него, что и будущее, и призваніе это все как-то созерцает он из милаго Мюнхена или с не менѣе любезных его сердцу берегов женевскаго озера, хотя бы в ту минуту и бесѣдовал он с Хомяковым и Аксаковым в Москвѣ или глядѣл на Невскій проспект из окон своей квартиры в домѣ армянской церкви. Можно почти сказать, что Россія нужна ему только для Европы, и во всяком случаѣ взгляды его не питаются, как у славянофилов, никаким предпочтеніем, которое он отдавал бы русской культурѣ перед европейской. Он не собирается Европу, хотя бы и гибнущую, приносить в жертву Россіи; он только полагает, что Европа погибнет, если Россія не спасет ее от гибели.

Нѣт сомнѣнія: Тютчев был горячим русским патріотом, негодовал на политику Нессельроде, ведшаго Россію на поводу австрійских интересов, скорбѣл об исходѣ крымской кампаніи, не всегда бывал доволен Горчаковым, желал усмиренія поляков и вообще требовал твердости, воспѣвал мощь, молился об одолѣніи супостатов. Однако, поскольку рѣчь идет об идейных, а не стихійных источниках его патріотизма, можно сказать, что источники эти были универсальными, а не національными. Завѣтнѣйшая мечта его, «Великая Греко - Россійская Восточная Имперія», была мечтой о новой Европѣ, о вселенском утвержденіи обновленной христіанской культуры, а не о воскрешеніи московскаго царства и не о торжествѣ специфически - русских начал. Уже в стихах «На взятіе Варшавы» он оправдывал покореніе Польши не необходимостью, не выгодой, не славой, а этим универсальным замыслом, этой «всемірною судьбой Россіи», как он скажет двадцать лѣт спустя. В порядкѣ возможнаго новаго «нашествія двунадесяти язык» он готов противополагать Россію Западу, но не придавая этому смысл окончательной и непреложной розни, и не гибели Запада желая, а его спасенія. Россію - же видит он при этом не в ея реальности, не в настоящем, а в чаемом и возможном будущем. Если вѣра в это будущее пошатнется, самый образ Россіи заколеблется в его душѣ. Недаром в едва-ли не лучшем из своих политических стихотвореній, по случайному поводу, но быть может не только в связи с ним, он спрашивает себя:

Ты долго-ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звѣзда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстрѣчу жадным взорам,
К тебѣ стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои разсыплются лучи?

Одержимость политикой, не Тютчева, но тютчевскаго ума, нерѣдко приводила к сужденіям опрометчивым и поспѣшным по поводу событій, не столь уж значительных и оцѣниваемых односторонне, с точки зрѣнія одних лишь междугосударственных отношеній. В предвидѣніи ближайшаго будущаго, он часто ошибался, считал, напримѣр, в 1870 году, что Франція неминуемо раздавит Германію, хотя будущее болѣе отдаленное угадывать умѣл, и в бисмарковском «культуркампфѣ» (как он о том писал в предсмертном письмѣ барону Пфеффелю) узнал все то, что пол вѣка спустя составило идею тоталитарнаго государства. Россію он видѣл в грандіозной — и совершенно вѣрной — всемірно - исторической перспективѣ, однако, нѣсколько отвлеченной и внѣшней, в силу самой этой грандіозности. Посѣщеніе Москвы и Кремля, послѣ двадцатилѣтняго пребыванія за-границей, дало ему образ византійско - русскаго міра, болѣе древняго, чѣм самый Рим, и к этому чувству прошлаго неизбѣжно присоединилось, говорит он, «предчувствіе неизмѣримаго будущаго». Рядом с таким взглядом, обычные славянофильскіе — мельче, но теплѣй. Завороженность будущим, выростающим из самой глубины прошлаго, приводит к ослабленію чувства конкретной русской исторіи, которая Тютчева, повидимому, не очень интересовала, и даже конкретной русской дѣйствительности, в которой он слишком склонен был видѣть лишь самое близкое — политическія интриги — или самое общее: россійскую державу в ея отношеніях с другими политическими силами. Оттого-то политическіе стихи его и слабѣй других, что их питают сравнительно поверхностныя чувства и мысли, тогда как все то сложное, что скрыто под этой наружной пеленой, не получает в них почти никакого выраженія. Если же пелену приподнять, сразу открывается совсѣм иной образ Россіи, который в Тютчевѣ

жил, хоть он вовсе и не был ему рад, и в котором нѣт ничего общаго с тѣм, что лег в основу его политической мысли и политической поэзіи. Или, если общее есть, то развѣ лишь то, о чем говорит замѣчательная формула, найденная однажды в Варшавѣ пятидесятилѣтним поэтом, из очередной заграничной поѣздки возвращавшимся на родину: «cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie».

2.

Часто в стихах и чаще еще в письмах встрѣчается у Тютчева эта тема, возвращеніе домой, и каждый раз чувствуешь: как тягостен возврат, как грустно разставаться с тѣм, что осталось позади, как трудно дается ему Россія! В 1839 году он пишет родителям из Мюнхена: «Я устал от этого существованія внѣ родины, и время подумать о пристанищѣ в старости, которая уже подходит», а пять лѣт спустя, из Петербурга, он жалуется им же, что отвык от русской зимы, которой не испытывал девятнадцать лѣт. И не только от зимы он отвык, но и от осени и весны, от петербургской оттепели, от ранних сентябрьских холодов, от всей русской погоды, — что значило не мало для человѣка, у котораго от перемѣн погоды мѣнялся и весь строй души. В письмах женѣ с поразительным постояностом повторяются жалобы и восторги по поводу солнца и дождя. В Петербургѣ, на Островах, лѣто 52 года прошло недурно, однако, погода испортилась в первых числах сентября, и этого было достаточно, пишет он, чтобы «окраска моих мыслей перешла из нѣжно - сѣрой в рѣшительно - черную». Август 54 года, кромѣ эпистолярных восторгов, вызвал еще стихотвореніе «Какое лѣто, что за лѣто!», а когда 24-го числа сильный вѣтер положил конец очарованью, Эрнестина Ѳедоровна получила приличное случаю торжественно - грустное поминальное письмо. Славословій зимѣ Тютчев не слагал, она и вообще рѣдко появляется в его стихах, и чтобы метель, пороша или рифмующія с морозом «дѣвичьи лица ярче роз» его плѣняли, что-то не слышно. Любил он только хорошо прогрѣтое лѣто и теплое начало осени. Іюльскими днями 56 года, проведенными в Петергофѣ, он остался настолько доволен, что обозвал их сверх-естественными для тѣх широт; зато холодный іюнь два года спустя заставляет его лишній раз воскликнуть «Ah, quel chien de pays!»: лучшаго от Россіи ожидать трудно. Вѣдь и в тѣх августовских стихах говорится:

Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свѣт...
Не издѣваются-ль над нами?
Откуда нам такой привѣт?

Настоящая ласка, настоящее тепло — только там, «на золотом, на свѣтлом югѣ». Поэт только и мечтает о том, чтоб

Сновидѣньем безобразным
Скрылся сѣвер роковой;

о том, чтоб

мимолетный дух,
Во мглѣ вечерней тихо вѣя,
Меня унес скорѣй, скорѣе
Туда, туда, на теплый юг.

Конечно, если бы все ограничивалось нелюбовью Тютчева к суровой русской зимѣ или пасмурному небу Петербурга, об этом не стоило бы говорить; но немил его сердцу был и русскій пейзаж, не была согласна его душа и с особым обликом русской природы. Он любил теплое море, горы, снѣговыя вершины, отраженныя в синем зеркалѣ озер, пейзажи Ривьеры, Швейцаріи, южной Германіи. Отрадно ему было, подняв глаза, созерцать

на краю вершины
Круглообразный, свѣтлый храм

или тѣ «недоступныя громады», гдѣ прозрѣвал он ангельскіе образы. Увидѣнный под конец жизни Кіев воскресил в нем нерусскія впечатлѣнія ранних лѣт и возвратил его поэзіи давно породнившійся с ней мотив:

Там, гдѣ на высотѣ сбрыва
Воздушный, свѣтозарный храм
Уходит выспрь — очам на диво —
Как бы парящій к небесам;

но равнинная, растекшаяся вдаль, безкрайная Россія пугала его воображеніе, и не Волга была ему родной рѣкою, а скорѣй уж Рейн или Дунай. В 43 году, оставив жену в Мюнхенѣ, ѣдет он в

Россію, чтобы подготовить к слѣдующему году свой окончательный переѣзд туда со всей семьей. За Варшавой, пишет он, «разстилается грозная скиѳская равнина, столь пугавшая тебя на моей рельефной картѣ, гдѣ она образует такое огромное пятно. В дѣйствительности она нисколько не болѣе пріятна». Через четыре года, вернувшись на лѣто за-границу, с каким восторгом описывает он вновь посѣщенные берега Рейна, баденскій и гейдельбергскій замки, Цюрих, Базель, прогулку в окрестностях Вильдбада, побудившую его благодарить Бога за то, что на свѣтѣ еще есть горы, столь утѣшительныя, когда смотришь на них «послѣ долгих трех лѣт, проведенных среди равнин и болот»; что и говорить: «ma fibre occidentale a été grandement remuée tout ce temps-ci». И вновь, шесть лѣт спустя, вернувшись из очередной заграничной поѣздки, жалуется он на грустную страну, гдѣ нечѣм замѣнить горы, кромѣ облаков, и спрашивает себя, как это «великій поэт, создавшій Риги и женевское озеро, a-t-il pu signer de son nom de pareilles platitudes».

«Que ne donnerais-je pas maintenant pour avoir devant moi une belle montagne en chair et en os!» Этот стон проходит через всю его жизнь. В тѣ-же времена Некрасов ѣздил за-границу и, воротясь, написал (в 57 году) «Тишину»:

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій простор!

Но Тютчева простор не врачевал. Однажды он писал из Берлина, перед тѣм, как пуститься в обратный путь: «Наконец, наконец, остается сдѣлать послѣдній шаг, и не далѣе, как сегодня вечером, я окунусь — не в вѣчность, как повѣшенный в Англіи, а в безконечность, как путешественник в Россіи». В тот год (59-й) ему особенно не хотѣлось ѣхать домой (хотя совершенно сходныя жалобы повторяются и позже, напримѣр в 62 году); еще из Веве он писал Эрнестинѣ Ѳедоровнѣ в Париж: «Я раздѣляю вполнѣ не только твое сожалѣніе покинуть Париж, но и твой ужас при мысли о возвращеніи. Сегодня мы сдѣлали прогулку в замок Отвиль (...) Что за воздух, что за освѣщеніе, какіе виды! И смотря на это озеро и горы, в свѣтящейся дымкѣ, казалось, грезившія на яву, я

вдруг вспомнил, что меньше, чѣм через шесть недѣль, я снова буду видѣть перед собой Гостиный двор, печально освѣщенный с четырех часов дня фонарями Невскаго проспекта, и содрогнулся». В ту осень дорога из Кенигсберга в Петербург внушила Тютчеву еще болѣе грустные стихи, чѣм тѣ, что были написаны почти за тридцать лѣт до того («Через Ливонскія я проѣзжал поля»), но основное переживаніе осталось тѣм же. И, конечно, это не случайное впечатлѣніе вылилось в них, а всегдашнее чувство родной страны:

Родной ландшафт... Под дымчатым навѣсом
Огромной тучи снѣговой —
Синѣет даль — с ея угрюмым лѣсом,
Окутанным осенней мглой...

Случай не родит таких стихов, как эти:

Ни звуков здѣсь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и покорясь судьбѣ,
В каком-то забытьѣ изнеможенья,
Здѣсь человѣк лишь снится сам себѣ.

Тут, конечно, не одна словесная живопись, да и не один «ландшафт» дѣлал тягостным для Тютчева возвращеніе домой, и не одним зрѣніем, не одними внѣшними чувствами воспринимал он образ своей Россіи. Русскій постоялый двор он однажды назвал «la plus triste des choses dégoutantes», но, конечно, и не отсутствіе дорожных или иных удобств настраивало его на хмурый лад, хоть он и говорит о поэзіи комфорта, еще неизвѣстной Россіи, в том самом сентябрьском письмѣ 53 года, гдѣ он прощается в Варшавѣ с «гнилым Западом, столь опрятным и удобным, pour rentrer dans cette saleté pleine d'avenir de la chère patrie». Из других писем и устных высказываній Тютчева явствует, что «saleté» тут можно понимать не только в прямом, но до нѣкоторой степени и в переносном смыслѣ. Через всю жизнь пронес он нерадующее чувство нецивилизованности, неотесанности, а то и прямого варварства Россіи. Лѣтом 1825 года, когда начинающій дипломат впервые вернулся домой послѣ двухлѣтняго пребыванія за-границей, Погодин записывает в дневникѣ: «Остро сравнивал Тютчев наших ученых с дикими, кои бросаются на ве-

щи, выброшенныя к ним кораблекрушеніем». А также: «Говорил с Тютчевым об иностранной литературѣ, о политикѣ, об образѣ жизни тамошнем. Мечет словами, хоть и видно, что там не слишком занимался дѣлом. Он пахнет Двором. Отпустил мнѣ много острот. «В Россіи канцелярія и казармы. Все движется около кнута и чина». Из этих слов не слѣдует дѣлать поспѣшных выводов о политически «лѣвых» настроеніях, позже, будто-бы, смѣнившихся другими. Что самовластье, по мнѣнію Тютчева, может развращать, видно из его стихов, посвященных декабристам; однако, он и позже проводит различіе между самодержавіем и абсолютизмом (т. е. именно самовластьем), не переставая в то же время быть вѣрным слугой россійскаго самодержца и вообще — «пахнуть Двором». Критика его, от которой он не отказывался всю жизнь, шла почти исключительно по двум путям: либо касалась внѣшней политики (тут он бывал крайне рѣзок, напримѣр в осужденіи всей внѣшнеполитической системы николаевскаго царствованія), либо вдохновлялась уже не столько политическими идеями, сколько прямыми интересами культуры, а в этой области и стиралась всего легче грань между пороками власти и свойствами русской жизни вообще.

«Кнут и чин» были и остались ненавистны Тютчеву, прежде всего тѣм, что с их помощью происходило подавленіе духовной свободы, то, что, в одном из горьких писем, вызванных крымской войной, он назвал «écrasement de l'intelligence». В том письмѣ, написанном в особенно мрачную минуту, он говорит, что подавленіе это систематически проводилось правительством за послѣдніе годы и привело к результатам всеоб'емлющим: «Tout a subi ce niveau de suppression. Tout s'est crétinisé ensemble». Послѣднее выраженіе характерно: многое в Россіи казалось Тютчеву именно глупым, то невинно - глупым, а то и преступно - глупым, и тогда ведущим к гибели. В тѣ же критическіе годы он пишет женѣ, что управленіе дѣлами «принадлежит мысли, которая сама себя не понимает»; «чувство такое, как будто находишься внутри кареты, катящейся вниз по все болѣе крутому склону, и вдруг замѣчаешь, что на козлах нѣт кучера». С порабощеніем мысли он боролся по мѣрѣ сил при Александрѣ II, засѣдая в Комитетѣ иностранной цензуры, но, конечно, и многое другое, темное, видѣл он кругом, что казалось ему неот'емлемым и непреоборимым. Любопытно, что в письмѣ, посланном в 1844 году в аугсбургскую газету, он не оспаривает по существу того, что го-

ворят за-границей о «несовершенствах нашего общественнаго строя, пороках нашей администраціи, положеніи наших низших классов», а лишь ссылается на примѣр ирландских крестьян и манчестерских фабричных рабочих, которым живется еще хуже, чѣм даже русским, сосланным в Сибирь. Международная роль Россіи, в настоящем, и особенно в будущем, перевѣшивает в его глазах всю неурядицу ея внутренняго строя; перед иностранцем он ее защищает, не отдѣляя грѣхов власти от грѣхов страны; но в собственном своем сознаніи, продолжая их видѣть слитно, он все же их видит, эти общіе, русскіе грѣхи, и от них во всю жизнь не перестает его коробить.

Коробит его от многаго в нравах, в манерах, во всем пошибѣ русскаго знатнаго и образованнаго общества. По поводу роскошнаго пріема у Кушелевых он пишет однажды: «Il y a un certain style canaille qui fait très bien sur un fond d'or». От впечатлѣній такого рода, отнюдь не единичных, он ищет утѣшенія в мысли об извѣстной первобытности русскаго общества и, значит, дѣвственности, невинности самых его пороков. В 53 году в Петербург пріѣзжала Рашель, и Тютчев не удивляется, что ей понравилось в Петербургѣ. «Я понимаю, — пишет он, — что для натуры, все испробовавшей, все исчерпавшей, была отдохновительна эта простодушная среда, столь мало тронутая разложеніем, столь несложная в своей испорченности. Это входит в ея курс лѣченія ослиным молоком». Но в то же время, по сравненію с безукоризненно воспитанным западным человѣком, это же общество кажется ему нестерпимо неотесанным и простоватым. На празднествах коронаціи, в Москвѣ, повстрѣчал он у Бахметьевых молодого лорда Актона, и встрѣча, как он говорит, навела на него глубокую меланхолію «tant j'ai été frappé du contraste qu'il y avait entre la distinction naturellement aristocratique de ce jeune homme et la vulgarité également naturelle de tout ce qui l'entourait». Тот, кто знает, что значила для Тютчева «свѣтская жизнь», т. е. хорошо отстоявшіяся формы цивилизованнаго общенія между людьми, поймет, почему вечер у Бахметьевых, да еще мюнхенскія воспоминанія, всплывшія на нем, привели к очередному припадку той болѣзни, что так часто вызывали у него люди, природа, погода его страны: тоски по чужбинѣ, или как он выразился в этом случаѣ, «nostalgie en sens contraire».

3.

Тоска по чужбинѣ — таков итог отношенія Тютчева к Россіи, открывающагося под наружным пластом политических убѣжденій и надежд и отвѣчающаго непосредственным его чувствам, а не каким-нибудь отвлеченным построеніям. Послѣ его смерти кн. И. С. Гагарин вспоминал его слова: «Je n'ai pas le Heimweh, mais le Herausweh». Эти настроенія не были случайны, они возвращались к нему постоянно, были спутниками всей второй половины его жизни, послѣ возвращенія на родину. Когда семья заграницей, основной мотив его писем — «зачѣм я не с вами», но когда он сам за-границей, а семья в Овстугѣ или в Петербургѣ, он соболѣзнует Эрнестинѣ Ѳедоровнѣ, но не торопится возвращаться к ней. В 58 году он за-границу не уѣхал и осенью пишет об А. О. Смирновой, что она «еще раз отложила свой возврат в милое отечество и что он, разумѣется, далек от того, чтобы ее за это порицать». Нѣсколько позже, в ту осень, он возвращается к той же темѣ: «Les revenants de l'étranger sont presque aussi rares et aussi peu authentiques que ceux de l'autre monde, et ma foi, on ne saurait en conscience donner tort à ceux qui ne reviennent pas, tant on aimerait être de leur nombre». В слѣдующем году он ѣздил в Германію и Швейцарію, в 60-м тоже, в 61-м оставался в Россіи, в 62-м «Herausweh» было особенно сильным, как видно по одному краснорѣчивому письму, и он вырвался вновь в Висбаден и к берегам женевскаго озера... Так проходила жизнь. Издали тревожила и манила старая Европа, ея духовный уют, ея прогрѣтая исторіей природа, поросшіе мохом камни и виноградники на солнечном склонѣ гор, а в «милом отечествѣ» было безпріютно и не по себѣ, и самую страшную душевную боль не подумал он развѣять в русских степях, а повез утопить в Средиземном морѣ:

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звѣзды глядят с высоты.
В этом волненіи, в этом сіяньи,
Весь, как во снѣ, я потерян стою —
О как охотно бы в их обаяньи
Всю потопил бы я душу свою...

Что-ж, надо ли согласиться с Тургеневым, писавшим Фету из

Буживаля 21 августа 1873 года: «Глубоко жалѣю о Тютчевѣ; он был славянофил, но не в своих стихах, а тѣ стихи, в которых он был им, тѣ-то и скверны. Самая сущная его суть — le fin du fin, — это западная, сродни Гете»? Нѣт, согласиться нельзя. Западническое мнѣніе это тоже упрощает дѣло, хотя и не столь грубо, как упрощало бы мнѣніе противуположное, т. е. такое, по которому славянофильством Тютчева исчерпывалось бы его отношеніе к Россіи. Совершенно вѣрно, что в политических стихах дана лишь внѣшняя пелена этого отношенія и что в них не высказалась «самая сущная суть» поэта. Однако и тяга на Запад, быть может, не самое глубокое, что в нем было, и уж во всяком случаѣ человѣческая и стихотворная суть его стихов, хотя бы только что приведенных стихов, написанных в Ниццѣ, не французская, не нѣмецкая, а чисто русская. Если, хваля звуковую изобразительность стихов Вяземскаго о Венеціи, Тютчев сказал: «Что за язык этот русскій язык!», то развѣ каждый не говорил себѣ того же, читая тютчевскіе стихи, только не политическіе, а другіе? Конечно, и Даль, и Гильфердинг выучились писать по-русски, но тютчевская степень сліянія со стихіей русскаго языка могла быть дана только глубоко русскому человѣку, русскому, быть может, не в привычках и вкусах, не в устройствѣ ума, но в самой сокровенной сердцевинѣ своей личности. Тютчев был предан россійской имперіи, но душою дружил с Мюнхеном и «зеркалом Лемана»; однако сильнѣй этой преданности и этой дружбы была та незримая Россія, что жила не во внѣ, а в нем самом. Два раза был он женат на нѣмках, но «послѣдняя любовь» его — русская любовь. Французскія письма его написаны прекрасно, с очень немногими отступленіями от правил чужого языка и в полном соотвѣтствіи с тѣм, что хочется назвать не его духом, а его умом; но французскіе его стихи все же оказываются черезчур русскими, по своему ритму, звуку, по самому чувству, которое хочет выразиться в них. Языковѣд Фосслер разсказал в одной из своих работ о нѣмкѣ, прожившей жизнь вдалекѣ от родины и разучившейся говорить по-нѣмецки, вплоть до послѣдней мучительной болѣзни, когда, для нея самой нежданно, язык ея дѣтства стал языком ея предсмертных жалоб и молитв. Так и Тютчев: по-французски он размышляет и острит, по-французски ведет письменную и устную бесѣду с друзьями, но только в русских стихах изливает душу, потому что душа эта — русская душа.

О том, что не так просто, как думал Тургенев, обстояло дѣло с тютчевским «le fin du fin», говорит уже то смущеніе, которое испытывает он, когда вспоминает о своей «fibre occidentale», о неспособности чувствовать себя в Россіи, как в своей естественной средѣ, и быть в самом дѣлѣ, «как дома», когда он дома. Извиняет он себя тѣм, что не в Россіи провел лучшіе годы, что не с ней связаны первыя радости, печали и утраты; но извиненіе не утѣшенье, и рана останется незалѣченной всю жизнь. В августѣ 1846 года, на пути в Овстуг, он писал женѣ из Москвы: «Я еще не знаю, какое впечатлѣніе произведет на меня мѣсто моего рожденья, покинутое 28 лѣт тому назад, и по котором я так мало тосковал. Боюсь, что из меланхолических чувств я найду там одну скуку. Вѣдь ни одно из моих живых воспоминаній не восходит к тому времени, когда я там был послѣдній раз. Моя жизнь началась позже, и все, что предшествовало ея началу, мнѣ столь же чуждо, как кануи моего рожденія». Встрѣча с родными мѣстами и в самом дѣлѣ была безрадостной, — как, повидимому, и встрѣча с матерью, в Москвѣ, за три года перед тѣм. В сентябрѣ Эрнестина Ѳедоровна получила длинное, грустное, нѣсколько растерянное письмо и при нем стихи, кончавшіеся так:

Ах нѣт! Не здѣсь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем,
Не здѣсь расцвѣл, не здѣсь был величаем
Великій праздник молодости чудной!
Ах, и не в эту землю я сложил
То, чѣм я жил и чѣм я дорожил!

Сказанное об Овстугѣ могло быть сказано и о Россіи. Невеселое письмо, невеселые стихи в сущности относятся и к ней. Тут один из источников той грусти, что, начиная с этого времени, постоянно сквозит в насмѣшливом (по отношенію к самому себѣ) тонѣ его писем и заглушается (быть может по инстинктивной потребности его натуры) славянофильской риторикой в патріотических стихах. Не мало должен был он думать о своей особой судьбѣ, чтобы однажды—в письмѣ из Веймара от 20 октября 1859 года — найти для нея такую острую формулу: «Что бы ни говорили, но единство мѣста — одно из трех единств старой, подвергавшейся стольким нападкам, классической драмы — болѣе необходимо, чѣм думают, для того, чтобы пьеса нас могла интересовать, по крайней мѣрѣ в дѣйствительной жизни».

Поэзія строится из противорѣчій; личность может от них погибнуть, но и на высшую ступень своего единства она не взойдет, если их нѣт. Тютчев жил в мучительной раздвоенности, но в глубинѣ он был един, а мукой и борьбой питался его геній. На поверхности был образ Россійской державы, с ея побѣдами, знаменами, пушками и врагами, а поглубже — «la saleté pleine d'avenir de la chère patrie»; но совсѣм глубоко было другое, другая Россія, хоть лишь изрѣдка выступали на поверхность ея не умом, а чутьем угаданныя черты. Однажды, послѣ осенней прогулки на Островах (в 68 году) он писал женѣ: «J'ai été mélancoliquement impressionné par l'aspect des pauvres arbres d'où pendent des touffes de verdure prêtes à se détacher. Ils ont tous l'air de poitrinaires». И еще за пятнадцать лѣт до того петербургская осень внушила ему, в письмѣ, гдѣ особо подчеркнута его тоска по горным пейзажам Запада, такую фразу: «A défaut de grandes scènes alpestres, nous avons eu ici, grâce à quelques belles journées d'automne, de charmants effets de lumière sur toutes les eaux de la Néva, si limpides et si résignées, et ses massifs de verdure bigarrée qui vont disparaître». Эти бѣдныя, чахоточныя деревья, эти покорныя воды (французское прилагательное лучше, оно геніально) как бы содержат в зародышѣ тот образ Россіи, что был запечатлѣн 13 августа 1855 года в знаменитом стихотвореніи, гдѣ и в самом дѣлѣ все угадано и понято, что «тайна свѣтит» в ея убожествѣ, скудости, в ея смиренной наготѣ. Образ этот сроднился с тютчевской душой как-то исподволь, должно быть и для него самого незамѣтно, не отмѣняя других, болѣе скептических или болѣе побѣдных, болѣе тревожных или болѣе праздничных. Присутствіе его чувствуется уже в стихах, внушенных остановкой в Ковно за два года до того (в том же году, когда было написано письмо о бѣдных и чахоточных деревьях). Стихи эти лишь на поверхности, голым своим сюжетом — побѣдой Россіи над наполеоновскими полчищами — напоминают бравурно - патріотическія его произведенія (которыя, впрочем, продолжал он писать и послѣ того), по существу же тот Другой, что стоит на стражѣ Россіи, отнюдь не символ, хотя бы и религізоный, матеріальнаго ея могущества, а уже тот небесный Царь, что два года спустя явился поэту «в рабском видѣ» и удрученный тяжестью креста.

О той Россіи, что открылась ему в наибольшей глубинѣ его

духовнаго опыта, он сказал всего меньше, потому что о самом сокровенном вообще говорить не любил. Передают, что он каждый раз болѣзненно сжимался, когда заходила рѣчь о его стихах, так что под конец с ним вообще никто не рѣшался говорить на эту тему. Однажды (по Аксакову) «в осенній дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокшій, он сказал встрѣтившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes». То были «Слезы людскія, о слезы людскія...»; и как с той же крайней скромностью и почти с извиненіем говорил он всегда о своих стихах, так и Россію предпочитал публично превозносить и частным образом поругивать, а самое тайное, что о ней знал, во всей полнотѣ только раз и как-то само собой у него сказалось, — больше он к этому не возвращался, даже и в стихах продолжал молчать. Впрочем, говорить, разсказывать, расписывать было и ненужно: достаточно было оставаться тѣм поэтом, каким он всегда был. Стихи и тайное вѣдѣніе Россіи несказанным образом были в нем одно. И в сущности все, что он думал о ней, вся гордость, и тревога, и печаль, все это было ничто рядом с тѣм, как она дышала в дыханіи его стиха, как жила и живет до сих пор в жизни его слова.

В. Вейдле

Соціологическое наслѣдіе Л. Леви-Брюля

Скончавшійся 14-го марта 1939 г. на 83 году жизни, замѣчательный французскій мыслитель и ученый открыл совершенно новые пути соціологическаго изслѣдованія. Сначала нео - кантіанец (Idéé de Responsabilité, 1884), затѣм утонченный, скептическій позитивист, преодолѣвшій морально - соціологическій догматизм Дюркгеймовской школы (La Morale et la Science des Moeurs, 1902), Леви - Брюль в сравнительно уже очень зрѣлом возрастѣ, на шестом десяткѣ, окончательно нашел себя, благодаря своему открытію специфичности мышленія и чувствованія первобытных народов. В длинной серіи работ, первым звеном которых была Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures 1910 г. и заключительным аккордом — L'Expérience mystique et les symboles chez les primitifs, 1938, Леви-Брюль раскрыл цѣлый мір своеобразной духовной жизни первобытных народов, о котором не подозрѣвали этнографы и миссіонеры, так как примѣняли к пониманію примитивнаго сознанія категоріи современнаго сознанія и исходили из идеи эволюціи по единой прямой линіи, предполагающей неизмѣнность сущности человѣка и общества. Л. - Б. своими изслѣдованіями установил не только относительность категорій мышленія и несводимость нашей логики и данных опыта к логикѣ и данным опыта примитивных, но и подорвал в корнѣ идею прогресса, показав несоизмѣримость духовных культур и полную измѣнчивость природы человѣка. Его изслѣдованія имѣли еще болѣе широкій смысл, так как на конкретном примѣрѣ установили невозможность общих законов в соціологіи, необходимость для соціолога ограничиваться изслѣдованіем в рамках качественно различных типов общества, типов, которые не могут быть установлены без уразумѣнія внутренних смыслов коллективных поведеній.

Таким образом, смысловая коллективная психологія, изучающая душевные составы, соотвѣтствующіе соціальной символикѣ разных типов общества, стала, благодаря работам Леви - Брюля,

первоосновой соціологіи. В самом процессѣ своих изслѣдованій Л. - Б. преодолѣл одновременно и раціонализм, и позитивизм: его соціологія обращается к непосредственным коллективным интуиціям и их данностям, и, в частности, уясняет суть мистическаго опыта примитивных народов.

***

Крупные мыслители бывают двух основных типов. Одни сразу узрѣвают центральную тему изслѣдованія и основной вклад, которыми они приковывают к себѣ вниманіе, и затѣм всю жизнь развивают и углубляют высказанное (таковы, напримѣр, во Франціи столь противоположные во всем остальном умы, как Бергсон и Дюркгейм). Другіе, напротив, развиваются постепенно, этапами: они мѣняют области изслѣдованія и внутри каждой области мѣняют точки зрѣнія. Их путь драматичен, частично мучителен, но выводы болѣе богатые, разносторонніе и плодотворные (таковы, напримѣр, во Франціи Прудон и Фредерик Рау). Мыслители статическаго типа быстрѣе основывают школы, болѣе легко вліяют на современников, пользуются часто большим успѣхом при жизни. Мыслители динамическаго типа, напротив, труднѣе усваиваются современниками, менѣе подходят для односложной школьной схемы, но зато их вліяніе оказывается болѣе продолжительным и универсальным.

Леви - Брюль принадлежал ко второму типу мыслителей: его творчество было сплошным становленіем, и даже когда он пришел к своей смысловой соціологіи первобытных, каждое новое произведеніе этого неутомимаго ученаго (самый напряженный період научной дѣятельности котораго относится к послѣдним семнадцати годам его жизни, т. е. от 65 до 82 лѣт!) содержало глубокое измѣненіе позиціи и новыя завоеванія мысли.

***

В первый період своей жизни Л. - Б., послѣ юношеской работы об *отвѣтственности,* от которой он вскорѣ отрекся, посвятил себя исторіи философіи. В своих первоклассных исторических изслѣдованіях: **History of modern philosophy in France, 1889; L'Allemagne depuis Leibnitz, 1890; La Philosophie de Jocobi, 1894; La philosophie d'Auguste Comte, 1890,** Л. - Б. дал послѣдующим поколѣніям французских ученых яркій образец того, каким должна быть работа историка философіи. Де-

тальная, почти математическая точность в анализѣ всѣх текстов изслѣдуемаго философа, сочетаемая с необычайным чутьем исторической эпохи и конкретных ситуацій мысли, не только не мѣшала, но содѣйствовала в работах Л. - Б. глубокому проникновенію в систематическое единство мыслей автора. Всѣ современные французскіе историки философіи от Брейе, вплоть до Жилсона были учениками Л. - Б., многолѣтнія лекціи котораго в Сорбоннѣ (он занимал кафедру исторіи философіи) были классическим примѣром кристальной ясности, об'ективной точности и проникновенія в самыя чуждыя ему системы.

***

Лишь на 47-м году жизни, завоевав себѣ всеобщее признаніе своими историко - философскими трудами, Л. - Б. обратился к соціологическим исканіям. Переходным звеном послужила его работа **La Morale et la Science des Moeurs, 1902,** открывшая новую эпоху в спорѣ о возможности теоретической морали и вызвавшая обширную литературу.

Л. - Б. выступил, как радикальный отрицатель возможности нормативной этики. Основываясь на своем блестящем знаніи исторіи моральных доктрин, автор доказывал, что всѣ эти доктрины основаны на логических противорѣчіях, что онѣ одновременно безплодны и догматичны, так как всякая этическая теорія вырождается в «метамораль», не имѣющую никакого контакта с реальной моральной жизнью.

Моральныя доктрины претендуют сразу познавать и предписывать, онѣ смѣшивают сужденія о бытіи и долженствованіе. Но знаніе ни при каких условіях не может быть нормативным. Безразлично, выводятся ли нормы и цѣнности из раціональнаго знанія метафизической сущности или из принципов апріори, или же их стремятся индуктивно основать на наблюденіи фактов, на эмпирическом знаніи. Никакая индукція, будь она біологической, психологической или соціологической, не может привести к установленію критеріев поведенія. В этом смыслѣ этика удовольствія, интересов, соціальнаго развитія и солидарности грѣшит совершенно тѣми же логическими недугами, как этика Высшаго Блага или категорическаго императива. В частности, так называемая, «соціологическая мораль» не только Конта и Спенсера, но и Дюркгейма, не имѣет никакого отношенія к соціологіи и, стремясь вывести

из'науки о нравах предписанія должнаго, превращает эту положительную науку в новую «метамораль».

Вдобавок самыя разнообразныя этическія доктрины, расходясь в обоснованіях, сходятся в выводах, поскольку онѣ относятся к той же эпохѣ: онѣ только догматизируют моральныя вѣрованія эпохи и ничего к ним не прибавляют. Немудрено, что этическія системы никогда не волнуют умов и почти никогда не безпокоят церковных властей, в полную противоположность теоретической философіи и наукѣ... Это еще не все. Всѣ системы теоретической морали основаны на тѣх же ложных постулатах; первый из них — предположеніе неизмѣнности и тождества человѣческой природы и природы общества, в то время как эта природа абсолютно измѣнчива: она не одинакова у первобытных и цивилизованных, на Западѣ и на Востокѣ, в античном и в христіанском мірѣ, в эпоху феодализма и в эпоху капитализма. В этом смыслѣ всѣ этическія системы основаны на «моральном антропоморфизмѣ», на соблазнѣ мѣрить всяческое поведеніе на свой аршин, примѣняя критеріи нашей среды и нашей эпохи.

Другим ложным постулатом всѣх систем теоретической морали является предположеніе, будто «моральное сознаніе», т. е. сознаніе норм и цѣнностей, является гармоническим цѣлым, не допускающим несводимых противорѣчій, антиномій. Кант, напримѣр, предполагал, что «категорическіе императивы» не могут вступать в противорѣчіе, а утилитарныя доктрины основаны на неизмѣнной іерархіи интересов и удовольствій. Между тѣм, одним из самых безспорных явленій моральной жизни является постоянное и неразрѣшимое противорѣчіе между равноцѣнными императивами и интересами. Моральное сознаніе всегда глубочайшим образом противорѣчиво. Нравственныя обязанности, порожденныя разными эпохами и различными традиціями, сталкиваются между собой внутри каждаго моральнаго сознанія; вѣчно борются в нем разнорѣчивыя и эквивалентныя обязанности по отношенію к разным группам (семьѣ, профессіи, классу, націи, международному общенію, человѣчеству), по отношенію к себѣ и к обществу, по отношенію к конкретным ситуаціям и т. д. Нѣт общих обязанностей и императивов, а только партикулярные, конкретно - индивидуализированные и вступающіе постоянно в непримиримыя противорѣчія.

Основываясь на всѣх этих соображеніях, Леви - Брюль пришел к абсолютно скептическому выводу: нужно отказаться от вся-

кой философіи морали, от всякой теоріи этики. Возможна только положительно - описательная наука о нравах, не претендующая ни на какое поученіе, свободная от всякой нормативно - цѣнностной тенденціи и составляющая часть соціологіи.

Хотя многіе критики Л. - Б. по недоразумѣнію зачисляли его в школу Дюркгейма, не может быть сомнѣнія, что уже в этой работѣ Л. - Б. далеко вышел за ея предѣлы и что его критика подрывала в корнѣ морализующій характер Дюркгеймовской соціологіи, разрушая ея основную предпосылку: взгляд на общество как на Высшее благо *), а также ученіе о перманентной основѣ общежитія.

Однако, выводы Леви - Брюля грѣшили в другом направленіи. Он оставался вѣрен позитивистическому предразсудку о возможности примѣненія естественно - научнаго метода к изученію соціальной жизни, в частности, к типологіи нравов, и сопоставлял даже свою «науку о нравах» с физикой. Он рѣзко отвергал, в этот період своего творчества, всякое толкованіе внутренних смыслов коллективнаго поведенія, предполагая, что всякая «интерпретація» приводит к метафизической конструкціи, исходящей из произвольно принятаго единства, и сводится к подмѣнѣ сознанія изучаемаго моральнаго суб'екта сознаніем толкователя. В результатѣ этого взгляда Л. - Б. не уяснил, в чем должен состоять метод «науки о нравах», не указал, каким путем она может извлечь из соціальной реальности специфическіе «моральные факты» в их отличіе от фактов религіозных, юридических и других, с которыми они часто находятся в сплетеніи и в противоборствѣ. Здѣсь никакой другой метод, кромѣ метода смысловаго уразумѣнія, невозможен, и эта интерпретація путем проникновенія в смысл наблюдаемых актов не имѣет ничего общаго с метафизической конструкціей и моральным антропоморфизмом, так как исходит из внѣшне осязаемых символов, чтобы затѣм уразумѣть их внутренній, специфическій, партикулярный смысл, т. е., то, что они конкретно символизируют. Возьмем, напримѣр, этнографа, наблюдающаго извѣстные жесты группы дикарей: как ему рѣшить, идет ли дѣло о религіозной или магической церемоніи, о военном или гимнастическом упражненіи, о простых актах вѣжливости, об осо-

*) Срвн. по этому поводу мою книгу **Essais de Sociologie, éd. Sirey, 1939, La Science des faits moraux et la Morale théorique chez Durkheim**, стр. 281-306.

бых юридических процедурах, или, наконец, о специфическом моральном поведеніи? Только, стараясь проникнуть в мотивы тѣлодвиженій, в вѣрованія, которыя ими руководят, в глубину их психическаго состоянія. И, с другой стороны, чтобы отличить моральные мотивы от всѣх прочих, нужно уже имѣть критерій нравственнаго в отличіе от религіознаго, юридическаго и т. д.

Таким образом, углубленіе и уточненіе проблемы метода науки о нравах непосредственно приводит обратно к вопросу о теоретической морали, не той конструктивно - догматической «метаморали», которую сдѣлал невозможной своей критикой Леви - Брюль,но к совсѣм иной этической теоріи.Рѣчь идет об этикѣ, основанной на многообразіи непосредственнаго моральнаго опыта, стремящейся уразумѣть его специфичность, ставящей себѣ единственной задачей обнаружить в послѣдующей рефлексіи об'ективныя цѣнности, которыя были дѣйствительно пережиты в опытѣ, и отказывающейся от всякаго поученія и предписанія, от всякой нормативной функціи.

Такая теоретическая этика, выработанная многими современными представителями ученія о непосредственном моральном опытѣ (во Франціи Фредериком Рау, в Германіи М. Шелером и Н. Гартманном), отвергая всѣ «постулаты» старой «метаморали» и признавая лишь строго индивидуализированныя, партикулязированныя и локализированныя цѣнности, не только не вступает в противорѣчіе с наукой о нравах, но находится с ней в тѣсном сотрудничествѣ: здѣсь этика и соціологическая наука о нравах взаимно предполагают друг друга, так как ученіе о специфичности моральнаго опыта дает наукѣ о нравах точный критерій для отличія «моральных фактов» от всѣх других, а наука о нравах поставляет этикѣ конкретный матеріал о разнообразных «данных» моральнаго опыта, о всевозможных моральных актах и символах их вдохновляющих, матеріал, без котораго теоретическая этика превращается в разсужденіе в пустотѣ.

Автору этих строк в книгѣ **Morale Théorique et Science des Moeurs, 1937, éd. Alcan,** посвященной Леви - Брюлю и, в основном, им одобренной, пришлось указать на полную примиримость новѣйших теченій в философской этикѣ с точкой зрѣнія Леви - Брюля, при условіи уясненія и расширенія метода выдвинутой им науки о нравах.

Это расширеніе и углубленіе соціологическаго метода произо-

шло в дальнѣйших работах самого Л. - Б., отказавшагося в своих замѣчательных изслѣдованіях о духовной жизни первобытных народов от примѣненія естественно - научных схем к изученію соціальных явленій и давшаго блестящій образец обращенія к чисто эмпирической смысловой интерпретаціи при рѣшеніи соціологических проблем.

***

В своем первом трудѣ, посвященном логикѣ первобытных народов, **Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures**, 1910, Леви - Брюль вскрыл непримѣнимость к их познавательным актам принципов логическаго тождества и противорѣчія. Наши «основные законы мышленія» не имѣют универсальнаго примѣненія: мышленіе примитивных зиждется на совсѣм других началах. Это принцип мистическаго соучастія всего во всем — **loi de participation.** Примитивные одновременно отождествляют себя с тотемом и считают себя подчиненными тотему существами, они приписывают себѣ присутствіе в тот же момент времени в разных мѣстах, они утверждают одновременно свою вездѣсущность и ограниченность своего бытія. Их представленія о мірѣ и их методы мышленія имѣют чисто мистическій характер. Это именно и проглядѣли этнографы и антропологи такого типа, как Тайлор и Фразер, которые об'ясняли различныя вѣрованія первобытных неправильным примѣненіем современных нам логических категорій. Фразер, напримѣр, об'яснял магію в архаических обществах слишком расширенным примѣненіем принципов сходства, контакта, порядка и причинности, не замѣчая, что он вкладывал в сознаніе примитивных понятія, которыя им чужды, и проходя мимо основного: преобладанія мистически - эмоціональнаго над интеллектуальным в их мышленіи, построенном на принципѣ сверх'естественнаго соучастія. Отсюда также неудачи просвѣтительной работы миссіонеров и учителей, работающих в архаических обществах: ссылки на наш «позитивный опыт» совершенно неубѣдительны для примитивных, потому что опыт этот проникнут нашими законами мышленія и понятіями, обязательности которых они не признают и не постигают. В этом смыслѣ мышленіе примитивных оказывается «непроницаемым для нашего позитивнаго опыта» (**imperméable à l'expérience**); их собственный опыт, конструированный по принципу «**loi de participation**», является для них единственно убѣдительным. Только поскольку во внѣшних сферах

их жизни дѣйствіе мистическаго принципа соучастія ослабляется, примитивные становятся болѣе воспріимчивы к позитивному опыту нашего типа и, одновременно, к законам тождества и противорѣчія, а также к интеллектуальным понятіям в их отличіи от эмоціональной жизни.

В слѣдующей своей работѣ: La Mentalité Primitive, 1922, Леви - Брюль, продолжая и углубляя свое изслѣдованіе о логикѣ примитивных, устанавливает, что не только основные законы мышленія, но и представленія о *времени, пространствѣ* и *причинности* у них совершенно не соизмѣримы с нашими. Что касается времени, то для примитивных не существует однообразнаго, гомогеннаго времени, поддающагося измѣренію. Они не могут сопоставлять равнозначные промежутки времени, так как «священное время», «хорошее время» качественно отлично для них от «запретнаго времени», «плохого времени» и т. д., и они не поддаются сравненію. То же с пространством; его отрѣзки несоизмѣримы, так как наполнены различным качеством: труднѣе пройти самое короткое «заклятое» или «священное» пространство, чѣм самое длинное, не обладающее этими свойствами и потому представляющееся примитивным, как болѣе короткое.

Примитивные не примѣняют понятія дѣйственной, непосредственной причинности (causes efficientes, causes secondes). Они признают и ищут только первопричины (causes premières), причинность мистическую. Напримѣр, в «ордаліях», столь распространенных в архаических обществах, в качествѣ причины смерти испытуемаго, оказывается не яд, который ему дают проглотить, но преступленіе, которое он, повидимому, совершил, если яд дѣйствует смертельно. Болѣе общим образом — не болѣзнь или эпидеміи являются причинами смерти, а колдовство, дурной глаз или гнѣв тотема, вызывающіе самую болѣзнь, и т. д.

Таким образом, не только разсужденіе примитивных основано на принципах, ничего общаго не имѣющих с нашими, но и их непосредственное воспріятіе міра совершенно иное, так как происходит в рамках других категорій времени, пространства и причинности. Этнографы, антропологи и соціологи, изучающіе сознаніе примитивных обществ, впадают в роковыя ошибки, не отдавая себѣ отчета в том, что самая картина міра, представленія о личности, о соціальной группѣ, о средѣ видимой и невидимой, у примитивных совершенно не соизмѣримы с нашими представленіями.

Третій трудъ Леви - Брюля, посвященный примитивнымъ, озаглавленъ: L'Ame Primitive, 1927. В нем авторъ переходитъ отъ первобытной логики къ примитивнымъ психологическимъ представленіямъ, въ частности къ описательному уразумѣнію представленія о личности и ея отношеніи къ обществу. Л. - Б. блестяще разрушилъ легенду, поддерживаемую большинствомъ этнографовъ и соціологовъ (въ частности Дюркгеймомъ и его школой), будто въ архаическомъ обществѣ индивидуальной личности не существуетъ, такъ какъ она абсолютно подавлена и раздавлена цѣлымъ. Ни личность, ни общество примитивныхъ не поддаются сравненію съ нашими, такъ какъ общіе критеріи отсутствуютъ. Что касается личности, то ея предѣлы совершенно иные, чѣмъ въ нашей цивилизаціи. Примитивная личность гораздо «мощнѣе» нашей по об'ему, такъ какъ она частично распространяется во внѣшній міръ, благодаря сферѣ «мистическихъ принадлежностей», составляющихъ ея неот'емлемую часть и сливающихся съ ней: одежда, инструменты, окружающіе предметы, проникнутые «маной» (магической силой), излучаемой индивидомъ, не говоря объ его тѣни, волосахъ, ногтяхъ, выдѣленіяхъ и т. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ примитивная личность менѣе дифференцирована по отношенію къ другимъ индивидамъ и въ этомъ смыслѣ «слабѣе», чѣмъ наша, съ точки зрѣнія содержанія. При такихъ условіяхъ соизмѣрять положеніе личности въ архаическомъ обществѣ и въ нашемъ есть наивный догматизмъ. С другой стороны, самое «общество» означаетъ у примитивныхъ нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ у насъ. В примитивное общество входятъ не только живые члены, но и умершіе, продолжающіе жить гдѣ-то по близости, принимающіе активное участіе въ соціальной жизни и часто умирающіе во второй разъ. Но если живые и покойники об'единяются въ одномъ цѣломъ, что можетъ усиливать соціальную власть и соціальное давленіе, то вмѣстѣ съ тѣмъ, эти власть и давленіе слабѣютъ въ силу того, что умершіе воплощаются въ живыхъ и что, согласно принципу мистическаго соучастія, общество въ такой же степени имманентно индивиду, въ какой индивиды имманентны обществу. Другими словами, какъ разъ въ примѣненіи къ примитивному обществу легенда объ его «трансцендентности» по отношенію къ сочленамъ, столь усиленно распространявшаяся Дюркгеймомъ, должна быть навсегда оставлена.

В трехъ своихъ послѣднихъ трудахъ: Le Surnaturel et la Nature dans la Mentalité Primitive, 1931, La Mythologie Primitive, 1935 et L'Expérience mystique et les Symboles chez

les primitifs, 1938, Леви - Брюль занялся уясненіем примитивных вѣрованій в сверх'естественное, в болѣе узком смыслѣ слова. Если вся духовная жизнь первобытных проникнута глубоким мистицизмом, то это не значит, что невозможно выдѣлить в их сознаніи сферу, гдѣ этот мистицизм имѣет особенно интенсивный и, так сказать, привилегированный характер. Это область «аффективной категоріи сверх'естественнаго»; она связана с напряженностью страха. Цитируя слова, сказанныя эскимоским шаманом Ауа К. Рамундсену: «Мы не столько вѣруем, сколько боимся», Леви - Брюль показывает, насколько ложно утвержденіе многих этнографов и соціологов, считающих, что нельзя говорить о противоположеніи сверх'естественнаго и естественнаго у первобытных народов по той причинѣ, что это противопоставленіе предполагает точное представленіе об «естественном», которое у них отсутствует. Рѣчь идет, замѣчает Л. - Б., о разных степенях интенсивности страха и, слѣдовательно, аффективной категоріи. Там, гдѣ их напряженность достигает максимума, выступает наружу привилегированная сфера непосредственнаго мистическаго опыта, данностью котораго является сверх'естественное. Можно, может быть, пожалѣть, что Л. - Б. не различил в самом мистическом опытѣ, основанном на боязни, двух разных ступеней: 1) ужаса, безконечной жути перед абсолютно высшей, трансцендентной силой, предполагающей смиреніе и обѣщающей спасеніе («Angst» Kierkegaard'a et Heidegger'a) и 2) простого страха, опасенія (Furcht) перед сверх'естественной силой, с которой при извѣстных условіях (если знать, как с ней обращаться) можно совладать; это привело бы его к разграниченію примитивной религіи от магіи, разграниченію, выражающемуся в противоположеніи «Священнаго», напр. Тотема, и магической «Маны», имманентной міру и каждому суб'екту *).Но нельзя отрицать, что Л. - Б. своим анализом «аффективной категоріи сверх'естественнаго» прекрасно разрѣшил давно волновавшій этнографов вопрос о границах естественнаго и сверх'естественнаго в архаических обществах.

Если примитивные «непроницаемы» для нашего позитивнаго опыта, построеннаго на категоріях нашей логики, они, напротив, болѣе всего руководствуются своим непосредственным мисти-

*) См. по этому поводу мои **Essais de Sociologie**, гл. III: **La Magie et le Droit**, ср. 173-209.

ческим опытом сверх'естественнаго. И чтобы это понять, необходимо не переводить этого опыта на язык наших понятій, но его сопережить, прежде чѣм описывать. Это сопереживаніе привело Л.-Б. к заключенію, что непосредственный, интуитивный опыт примитивных безконечно богаче нашего, тѣм болѣе, что наша логика и наша конструкція научнаго опыта заставляют нас искусственно обѣднять непосредственно - интуитивный опыт. Этим об'ясняется утѣшеніе и облегченіе, которыя мы испытываем при чтеніи примитивных мифов и сказок: принужденіе, которое мы примѣняем к нашему, и так уж довольно обѣдненному мистическому опыту, здѣсь на время устраняется и дает нам особое эстетическое наслажденіе.

Анализируя мифологію примитивных, Л. - Б. обнаруживает, что в их непосредственно - интуитивном опытѣ животныя переживаются как люди в масках: масками служат шкуры, которыми они себя прикрывают; человѣк, обвалакивающій себя шкурой, превращается в животное, и животное, сбрасывающее с себя шкуру, в человѣка. Так как тотемами в примитивных обществах являются, главным образом, звѣри, заключеніе Л. - Б. чрезвычайно важно для уясненія смысла тотемизма. Послѣдній ничего общаго не имѣет с зоолатріей. Примитивное Божество, которое символизирует тотем, лишь прикрывается шкурами, как оболочкой, чтобы не ослѣпить своим величіем человѣка; по существу, оно всегда имѣет человѣкоподобный и виртуально - личный характер.

С другой стороны, символы имѣют в духовной жизни примитивных совсѣм особое значеніе. Для нас символы имѣют характер знаков, замѣщающих то, что символизируется, и отдѣленных от него. У примитивных, напротив, между символами и символизируемым нѣт никакой раздѣльности. Символы — непосредственныя части символизируемаго и, в силу принципа мистическаго соучастія, символ и символизируемое совершенно сливаются.

***

Таковы в самых общих чертах основные результаты изслѣдованія Леви - Брюля о смысловой психологіи примитивных. Они раскрыли цѣлый невѣдомый нам мір. Чѣм болѣе Л. - Б. погружался в этот мір, тѣм острѣе он раскрывал всю глубину пропасти, отдѣляющей наше сознаніе от сознанія примитивных: не только основные законы мышленія, не только категоріи пространства, времени и причинности, не только представленія о личности и обще-

ствѣ, не только идея сверх'естественнаго опыта, но и самыя данности непосредственно интуитивнаго опыта оказались совершенно не соизмѣримыми и не сводимыми.

Таким образом Л. - Б. нанес сокрушительный удар всѣм попыткам об'ясненія происхожденія современных институтов из первобытных, всѣм видам смѣшенія примитивнаго с основоположным (élementaire), столь распространенным в соціологіи (одно названіе извѣстнаго труда Дюркгейма: **Les Formes Elementaires de la Vie Réligieuse** является в этом смыслѣ цѣлой программой, тщету которой вскрыл Леви - Брюль). Л.-Б. на конкретных примѣрах вскрыл всю тщету поисков «общих законов развитія» в соціологіи, показав, что, переходя от одной культуры к другой, мы всегда одновременно *кое-что теряем* и *кое-что выигрываем*. Он навсегда преодолѣл количественный метод в изученіи соціальных явленій, поставив на его мѣсто метод качественнаго уразумѣнія, поиски индивидуализированных смыслов коллективных дѣйствій, метод, допускающій лишь установленіе строго отграниченных типов. Он впервые поставил в строго научных рамках проблему новой соціологической дисциплины: *соціологіи знанія,* которая имѣет громадную будущность. Он устранил конфликт между соціологіей и исторіей, которыя он значительно сблизил между собой и между которыми он создал возможность тѣснаго сотрудничества.

Контакты Л. - Б. с рядом теченій современной мысли, в частности с разнообразными ученіями о многообразіи расширеннаго, интегральнаго опыта (напримѣр, с феноменологіей), были многогранны и несомнѣнны. Вліяніе, которое он оказал в этнографіи и соціологіи так велико, что оно не поддается даже еще опредѣленію. Его богатым соціологическим наслѣдіем будут питаться еще цѣлыя поколѣнія изслѣдователей, примѣняя его метод к изученію *соціологіи духа* в других, а не только примитивных, типах и структурах общества.

**
*

Леви - Брюль был не только замѣчательным мыслителем и изслѣдователем. Он был человѣк исключительно стойких убѣжденій, необычайной широты и отзывчивости, рѣдкой доброты и благородства. Его интимным другом с ранней молодости был Жан Жорес, и он остался вѣрен его завѣтам до послѣдней минуты жизни. В Леви - Брюлѣ воплотилось лучшее, что дала французская научная,

моральная и политическая культура конца XIX-го и начала XX-го вѣка. Славясь своей совершенно необычайной безпристрастностью и об'ективностью, умѣньем воздавать должное ученым противоположных направленій и людям иного душевнаго склада, Леви - Брюль признавался французской академической средой безспорным супер - арбитром, внушавшим всѣм одинаковое довѣріе и уваженіе.

Его смерть—громадный, непоправимый удар по интеллектуальной жизни Франціи. Таким мыслителям и людям в печальной современности нѣт смѣны.

Г. Д. Гурвич

Внѣшняя политика совѣтскаго союза

I.

Внѣшняя политика Москвы снова на распутьи. Может быть, еще до того, как будут напечатаны эти строки, выяснится, пойдет ли совѣтское правительство по пути изоляціи и нейтралитета или же по пути активнаго вмѣшательства в міровыя событія. Только эти два рѣзко противоположных пути открыты сейчас перед Москвой.

До сих пор казалось, что правящая верхушка совѣтскаго государства и сам Сталин склоняются в сторону нейтралитета. Нужно сказать, что в пользу этой вѣшне - политической линіи говорит цѣлый ряд мотивов, как идеологическаго, так и практическаго порядка. В СССР издавна проводится различіе между войной «революціонной» и «имперіалистической», «справедливой» и «несправедливой», между войной, которая, с точки зрѣнія Москвы, служит интересам капитализма, и другой, «революціонной», открывающей путь міровой революціи. Было бы совершенно ошибочно предполагать, что совѣтское государство сейчас в меньшей степени проникнуто тенденціями к міровой революціи, чѣм это было в прежнія времена. Ни измѣненіе тактики, ни нѣкоторыя чисто - внѣшнія перемѣны не должны вводить нас в заблужденіе: с самаго начала и вплоть до сегодняшняго дня идея міровой революціи составляла и продолжает составлять весь внутренній смысл совѣтскаго государства. Міровая революція была и остается основной государственной идеей совѣтскаго Союза. Болѣе того: в послѣдніе годы это — единственное обоснованіе сохраненія в СССР диктаторіальнаго режима.

Надо имѣть в виду, что власть в СССР испытывает непрерывное давленіе со стороны народных масс, стремящихся к демократизаціи режима. Демократія здѣсь понимается при этом не в смыслѣ перемѣны государственнаго строя или государственнаго механизма, а в том смыслѣ, который придают этому понятію русскія народ-

ныя массы и который сводится к растворенію диктатуры в режимѣ индивидуальной свободы. Это — стремленіе к такому государственному строю, при котором гражданин защищен от произвола властей и пользуется большей свободой движеній, как в области духовной, так и в области своих повседневных интересов. Уступая этому давленію, Сталин создает новую конституцію, реформирует партію и отдает Берію приказ освободить нѣкоторыя категоріи заключенных (причем мѣста освобожденных занимают другіе, вновь арестуемые). Но ни конституція, ни новый устав В. К. П. не дают массам того смягченія диктаторіальнаго режима, к которому онѣ так стремятся. Для того, чтобы эти массы продолжали терпѣливо сносить гнет диктатуры, им нужно дать какой-либо правдоподобный мотив к ея сохраненію. Вѣдь в теченіе ряда лѣт им говорили, что, когда в СССР будет построен соціализм, государство, со всѣм его аппаратом принужденія, должно будет отмереть. Сейчас офиціально не только построен соціализм, но и приступлено к осуществленію конечной цѣли — коммунизма. Между тѣм государство не только не отмирает, но, наоборот, в послѣдніе годы охватывает цѣликом всю жизнь совѣтскаго гражданина, не исключая и его семейных отношеній, а политическій аппарат непрерывно усиливается. Офиціальное об'ясненіе здѣсь сводится к тому, что ученіе об отмираніи государства является вредной ересью и что государство и весь его принудительный аппарат должны существовать до тѣх пор, пока будет существовать капиталистическое окруженіе. Если прежде сохраненіе диктаторіальнаго режима мотивировалось существованіем буржуазных классов, то теперь, когда эти классы ликвидированы и вмѣстѣ с ними исчезла та почва, на которой, согласно большевистскому ученію, выростают антисоціалистическіе и антисоціальные элементы, дальнѣйшее сохраненіе этого режима может мотивироваться только внѣшней опасностью, — а опасность эта может быть устранена только в результатѣ исчезновенія буржуазнаго окруженія. Проблема міровой революціи является таким образом для московских диктаторов политической реальностью. Этого характера ея не лишает и та почти - націоналистическая пропаганда, которая ведется в послѣдніе годы в совѣтском Союзѣ.

Конечно, эта пропаганда не остается без вліянія и на правящих и на управляемых. Она несомнѣнно усиливает національное и государственное самосознаніе. Вмѣстѣ с тѣм она, усиливая централизацію, выдвигает на первый план вопрос о національной оси,

сосредоточивающей вокруг себя всю жизнь страны. Совершенно естественно и понятно, что такой осью оказалась великорусская нація. Отсюда національно - русскій лик совѣтскаго Союза в послѣдніе годы. И, как результат всѣх этих явленій, новое, еще не вполнѣ оформленное, но несомнѣнно существующее представленіе о міровой революціи.

Если Ленин когда-то думал, что соціальная революція будет произведена, по собственному почину и собственными силами, пролетаріатом передовой націи, то Сталин мыслит проще и примитивнѣе. Рост самосознанія московских правящих кругов приводит к бонапартистскому видоизмѣненію идеи міровой революціи. В совѣтском Союзѣ построен соціализм. В совѣтском Союзѣ знают, как это дѣлается. Слѣдовательно, совѣтскіе граждане будут в грядущей міровой революціи играть роль учителей мірового пролетаріата. «Когда в западной Европѣ разразится соціалистическая революція, — сказал однажды Ленин, — Россія станет революціонной провинціей». При Сталинѣ, «вождѣ трудящихся всего міра», Москва стала «Меккой» мірового пролетаріата, «будущей столицей міра»... Идея міровой революціи, как единственно возможное и мыслимое обоснованіе сохраненія диктаторіальнаго режима, является, таким образом, неот'емлемой составной частью московской внѣшней политики.

II.

Для тѣх кругов правящей партіи, которые подчеркивают свою преданность идеѣ міровой революціи, политика изоляціи представляется желательной и цѣлесообразной по многим основаніям. Развѣ Ленин не учил, что наилучшей защитой для совѣтскаго Союза является обостреніе противорѣчій между капиталистическими странами? И, с другой стороны, не может-ли имперіалистическая война, от которой СССР останется в сторонѣ, дать, наконец, разрѣшеніе проблемѣ міровой революціи? Если красная армія, не принимая участія в этой войнѣ, не скажет в заключеніе послѣдняго слова, выступив с нетронутыми силами, то не окажется ли угроза бонапартистскаго разрѣшенія революціи в предѣлах реальных возможностей? Изоляціонисты могут привести еще много других аргументов. Так ли уж несомнѣнно, что, если Гитлер выступит против Россіи под лозунгом антибольшевистскаго крестоваго похода, капиталистическій Запад, дѣйствительно, возьмется за оружіе, что-

бы поспѣшить на помощь большевистскому государству? И не будет ли болѣе правильным предположить, что попытка сотрудничества западных демократій с Россіей будет только кратковременным эпизодом, послѣ котораго Гитлер в той или иной формѣ все-таки получит от мірового капитализма мандат на свой крестовый поход против Москвы? Всѣ эти вопросы не находят в Москвѣ удовлетворяющаго изоляціонистов отвѣта.

Есть и еще один аргумент. Он сводится к тому, что паденіе Гитлера вовсе не диктуется интересами міровой революціи. Не надо забывать, что формула, согласно которой фашизм является послѣдней стадіей германскаго капитализма, формой германскаго нео-имперіализма, осуществляющаго свою послѣднюю задачу — завершеніе національной революціи 1848 года, — остается незыблемой. В представленіи Москвы задача Гитлера заключается в том, чтобы уничтожить все то, что находится между національ - соціализмом и коммунизмом, сдѣлать невозможным возстановленіе буржуазной демократіи. Послѣ Гитлера — только красный потоп, другой альтернативы быть не должно. Но, чтобы выполнить эту историческую задачу, Гитлеру нужно время. Не ухудшится ли положеніе Совѣтов, если Гитлер падет в ближайшее время и в Германіи установится буржуазное правовое государство, которое смягчит международныя противорѣчія? Не приведет ли это к созданію единаго капиталистическаго фронта, направленнаго против Совѣтов, фронта, который будет несравненно болѣе опасным для красной Москвы, нежели нынѣшняя, раздѣленная на два лагеря Европа?

Сторонники участія Россіи в міровой политикѣ оспаривают, конечно, эти доводы и указывают на их опасность. Они доказывают, что непрерывный рост престижа фашистской оси, непрерывное ея матеріальное усиленіе может, если СССР не бросит свою силу на чашку вѣсов, привести к тому, что фашистская ось или фашистскій треугольник добьется міровой гегемоніи путем одних маневров, без разрушительной войны, и что в этом случаѣ фашизм сможет создать дѣйствительно грозную коалицію против Совѣтов. Если Запад потерпит пораженіе — в войнѣ или без войны, — то Россія, оставшись в одиночествѣ, подвергнется гораздо болѣе сильному давленію, чѣм сейчас, идя вмѣстѣ с демократіями.

Серьезное значеніе имѣет также довод изоляціонистов относительно того, что политика, предохраняющая Россію от царящей

во всей Европѣ боязни войны, укрѣпляет существующій в Россіи режим.

III.

Но политика государства опредѣляется не только дискуссіями, ведущимися внутри его правящей верхушки. На ея направленіе вліяют также неуловимые психологическіе моменты и, в частности, настроенія как самой этой правящей верхушки, так и нѣкоторых воздѣйствующих на нее кругов. Обсуждая совѣтскую внѣшнюю политику, мы не должны упускать из виду свойственный всякому молодому режиму complexe d'infériorité (уничиженіе).

Всѣ большевистскіе государственные дѣятели всегда твердили о том, что им совершенно безразлично, что думает или пишет о них остальной, презираемый ими мір. И в то же время всѣ они в повседневной жизни всегда проявляли живѣйшій интерес к мнѣніям этого міра и воистину болѣзненную чувствительность,тщательно взвѣшивая и обсуждая всякое слово, всякое замѣчаніе, исходящее от иностранцев. Нигдѣ так легко не обижались, как в Москвѣ, нигдѣ не придавали большаго значенія внѣшним формам, чѣм там. Недаром первый совѣтскій дипломатическій этикет, с его пышностью и сложностью, почетными караулами и музыкой, можно было сравнить развѣ только с этикетом испанскаго двора. И точно также неслучайно совѣтское правительство предпочитало видѣть на посту назначенных в Москву послов и посланников не рабочих вождей, а графов и лордов. Правящіе совѣтскіе круги чувствовали, что к ним не относятся, как к равным, и болѣзненно это воспринимали. Большевики всегда утверждали, что совѣтская политика не опредѣляется соображеніями престижа. Несмотря на это, во времена нэпа, когда создана была новая монетная единица, червонец, совѣтская власть употребляла самыя невѣроятныя усилія для того, чтобы добиться его котировки за-границей. По этому поводу писались безчисленныя ноты и велись безконечные переговоры. Русская монетная реформа была проведена с экономической точки зрѣнія чрезвычайно искусно. Тѣм сильнѣе было изумленіе всѣх экономистов - спеціалистов по поводу этих усилій совѣтскаго правительства. Совѣтскій Союз экспортировал и мог экспортировать только в обмѣн на золото или иностранную валюту. В то же время, в первые годы нэпа был разрѣшен неограниченный вывоз новой совѣтской валюты. Какое примѣненіе могла она получить за-грани-

цей? Когда, наконец, удалось добиться котировки червонца в Ригѣ и Миланѣ, представители торгпредства в этих городах ежедневно отправлялись на биржу и там сами покупали и продавали червонцы, чтобы котировка могла имѣть мѣсто. Когда, спустя нѣсколько лѣт, Сокольникова спросили, какую собственно цѣль преслѣдовала эта дипломатическая кампанія в пользу червонца, он отвѣтил: «Мы хотим, для поддержанія нашего престижа, добиться возможности расплачиваться в гаагских и лондонских ресторанах нашими новыми красивыми бѣлыми бумажками».

Вездѣ в СССР, гдѣ иностранцы оказывались вмѣстѣ с совѣтскими гражданами, эта атмосфера совѣтской приниженности ощущалась настолько рѣзко, что в ней становилось трудно дышать. Так было, напримѣр, на пріемах печати. В то время как иностранные корреспонденты свободно и откровенно ставили вопросы тому или иному пріѣхавшему в Москву иностранному государственному дѣятелю, совѣтскіе журналисты были обычно молчаливыми свидѣтелями бесѣды или, в крайнем случаѣ, ограничивались вопросами чисто формальнаго порядка. Между тѣми и другими воздвигалась как бы невидимая стѣна. Это явленіе может быть легко об'яснено. Вѣдь иностранные участники этих пріемов были относительно свободными людьми, могли относительно свободно высказывать свои мнѣнія и, во всяком случаѣ, могли быть спокойны в том отношеніи, что на слѣдующій день с ними ничего не случится особеннаго. Совсѣм иным было положеніе совѣтских чиновников, которые должны были быть постоянно на чеку, взвѣшивать каждое слово и все же не имѣть увѣренности, что, возвратясь послѣ пріема домой, они не застанут у себя нежданных и непрошенных визитеров, которые одним ударом положат катастрофическій конец всей их жизненной карьерѣ. Эта невидимая стѣна всегда ощущалась и создавала в русской части участников пріемов сознаніе приниженности, в концѣ концов выливавшееся в яростную ненависть к иностранцам. Это сознаніе приниженности отдѣльнаго совѣтскаго гражданина, поскольку он работает в государственном аппаратѣ, неизбѣжно отражается и в той политикѣ, которую этот аппарат ведет. Совѣтское правительство всегда склонно было видѣть вездѣ угрозу своему существованію, у него всегда было ощущеніе, что с ним не обращаются, как с равным, что на него смотрят свысока. И Совѣты, и их чиновники чувствовали себя, как бѣдняк, приглашенный к богатому столу, но видящій, что общество, в которое он по-

пал, не считает его равноправным членом. Это ощущеніе порождает в нем желаніе тоже имѣть большую квартиру, так же пышно обставить ее и занять первое мѣсто.

Это желаніе компенсировать сознаніе своей приниженности стало опредѣлять проявленія совѣтской политики, как только к тому оказалась возможность. Этот мотив лежал отчасти в основаніи гигантоманіи совѣтскаго промышленнаго строительства. Он же опредѣлил пышность демонстрируемаго каждому пріѣзжающему в Москву иностранцу подземнаго московскаго метро. Когда возник вопрос о вхожденіи СССР в Лигу Націй,, один иностранец, имѣвшій возможность близко наблюдать московскія настроенія, очень мѣтко замѣтил: «При нынѣшних своих настроеніях совѣтское правительство готово войти в Лигу Націй не только по тѣм мотивам пропагандистскаго и дѣлового характера, которые выдвигаются в совѣтской печати и в рѣчах совѣтских людей; оно охотно займет любое свободное почетное кресло в международном обществѣ, чтобы только удовлетворить свое стремленіе, играть нѣкую роль». Так начался тот період совѣтской дипломатіи, в теченіе котораго Москва придавала величайшее значеніе росту числа иностранных посольств и отправляла пышныя делегаціи за-границу по всяким поводам, будь то коронація англійскаго короля или тот или другой международный с'ѣзд. Не было той выставки или того международнаго с'ѣзда, на котором, снаряженная цѣной больших усилій и с затратой больших средств, совѣтская делегація не демонстрировала бы высших совѣтских достиженій. Это представительство поглотило много милліонов.

Однако, этот період скоро смѣнился другим. Здѣсь с совѣтским правительством произошло то, что обычно происходит с отдѣльным человѣком. Бѣдняк разбогатѣл, снял большую квартиру, устраивает в ней роскошные пиры и пріемы, словом, живет жизнью тѣх, которым он еще недавно так остро завидовал. Постепенно сознаніе приниженности, угнетавшій его прежде **complexe d'infériorité** исчезает. Наступает момент, когда он видит, что, в сущности, ни большая квартира, ни пышный образ жизни ничего ему не дают. Правда, гости, которых он принимает, могли бы быть ему полезны. Но так как цѣлью всѣх его стремленій была только возможность играть извѣстную роль, то он не может даже использовать эти связи, и ему начинает казаться, что все это пустая суета. И он начинает мечтать о своей старой кухнѣ, которая ему теперь

милѣе его роскошной столовой и в которой он может, не облекаясь в фрак и смѣнив крахмальную сорочку на удобную старую рубашку, спокойно, вдали от посторонних взоров, уплетать свои любимыя блюда.

Такой день наступил и для Совѣтов. Желаніе блистать в свѣтѣ исчезло. Под всевозможными предлогами совѣтское правительство начало ограничивать число пребывающих в Москвѣ иностранных дипломатов. Литвинов заявил даже публично (в связи с разрывом дипломатических отношеній с Уругваем), что вообще малыя и среднія государства отлично могут обойтись без представителей в Москвѣ. Подчеркнуто вѣжливый тон в дипломатическом общеніи уступил мѣсто нарочитой грубости. И если раньше всѣ стремились попасть в списки лиц, приглашаемых на дипломатическіе пріемы, то теперь, наоборот, совѣтскіе граждане начали всячески избѣгать этих пріемов. Конечно, при этом извѣстную роль сыграл террор и опасность общенія с иностранцами. Но здѣсь несомнѣнно было и другое: утомленіе и скука, связанныя с иностранным.

Сознаніе приниженности, проникавшее прежде совѣтское государство, было преодолѣно и смѣнилось другой крайностью: стремленіем к полному отходу от иностранцев, к изоляціи, к политикѣ нейтралитета.

IV.

Не подлежит никакому сомнѣнію, что возникшій на почвѣ усталости от внѣшне - политическаго активизма совѣтскій изоляціонизм, как бы ни были обоснованы с большевистской точки зрѣнія видвигаемые его сторонниками доводы, недолговѣчен. Тенденціи оставаться в состояніи изоляціи, пока не представится благопріятный момент для міровой революціи, противостоят реальныя потребности государственной жизни. Ни революціонныя теоріи, ни мощь красной арміи, ни полная хозяйственная автархія не могут предотвратить появленія в совѣтской государственности продиктованнаго ея жизненными интересами стремленія к участію в міровой жизни. Прежняя болѣзненная склонность показать себя смѣнилась здоровым національным стремленіем не только обезпечить свое существованіе, но и занять в мірѣ подобающее мѣсто. Чѣм меньше пишут совѣтскія газеты о заграничной жизни, тѣм сильнѣе становится жажда знать, какой вид у внѣшняго міра. С

другой стороны, все шире распространяется убѣжденіе в том, что изоляція несет с собой не только выгоды, но и опасности. Извлечь временныя выгоды из изоляціи не трудно: недавній опыт Мюнхена показал, что, стоя в сторонѣ, можно предоставить другим всѣ убытки и весь позор подобных операцій. Но вѣдь при такой позиціи нѣт и возможности вліять на принимаемыя рѣшенія, и возникает опасность, что в один прекрасный день раздирающія мір противорѣчія будут сглажены за счет того, кто отсутствует и не участвует в рѣшеніях. Таков сильнѣйшій и рѣшающій аргумент, выдвигаемый в Москвѣ противниками изоляціонистской политики. Если мы изолируемся, то не будем участвовать в разрѣшеніи различных вопросов, и тогда у остальных возникнет искушеніе разрѣшить эти вопросы за счет отсутствующих. И может случиться, что, вмѣсто того, чтобы, как сильнѣйшіе, противостоять распадающемуся міру, мы внезапно окажемся одни против всего об'единившагося против нас міра. Противники нейтралитета указывают, не без основанія, что именно политика изоляціи может привести к образованію единаго фронта, так называемых, капиталистических государств, направленнаго против совѣтскаго Союза.

По всему тому, что можно наблюдать на поверхности, можно думать, что в Москвѣ сейчас ведется внутри правящей верхушки ожесточенная борьба за то или иное направленіе внѣшней политики СССР. Жертвой этой борьбы уже пал технический руководитель внѣшней политики Литвинов. Если СССР, в концѣ концов, рѣшит вести дѣйствительно активную внѣшнюю политику, то вопрос о том, на чью сторону он станет, не возбуждает сомнѣній. Пропаганда ненависти к фашизму велась слишком долго, чтобы можно было внезапно повернуть массы в другую сторону. Конечно, СССР утверждает о себѣ, что он — единственная страна подлинной демократіи. Конечно, там демократіи именуются не иначе, как «так называемыми». При всем том большевики не могут одним ударом уничтожить плоды долголѣтней пропаганды. Сейчас совѣтское правительство пытается идти средним путем: оно ведет переговоры с Западом, выслушивает в тишинѣ дипломатических кабинетов мирныя завѣренія фашистских держав, отправляет в путешествіе по столицам Потемкина. Эти путешествія должны демонстрировать особую дипломатическую активность. Но все это носит лишь временный характер. Неизбѣжный ход событій в конечном счетѣ заставит Совѣты стать, в той или иной формѣ, на сторону демокра-

тій. В этом вопросѣ правящей верхушкѣ, несмотря на всѣ ея холодные расчеты, придется уступить давленію масс. Уже сейчас внутри правленій верхушки, в Политбюро, выдѣляется руководимая Ждановым великорусская группа, у которой идеал міровой революціи окрашен в національные цвѣта. Группа эта хочет вести русскую политику, притом политику, соотвѣтствующую положенію совѣтскаго Союза, как великой державы. Для нея положеніе о том, что интересы совѣтскаго Союза совпадают с интересами міровой революціи, превращается в синтез великорусской и великодержавной политики. Если именно представители этой группы ставили Литвинову в вину слишком большую уступчивость или даже играли изоляціонисткими лозунгами, то не надо забывать, что их принуждала к этому сложная механика внутренних взаимоотношеній в Политбюро. Для этих кругов революція и нація стали уже единым понятіем.

Николай Бассехес

ХРОНИКА

Переход иниціативы

Одна газета, отмѣчая разницу между майским настроеніем в международной политикѣ сравнительно с настроеніем прошлых мѣсяцев, опредѣлила ее так: прежде тоталитарный блок дѣйствовал, а демократіи только занимались разговорами; теперь разговаривают вожди тоталитарных государств, а демократическія страны дѣйствуют. Это сказано, пожалуй, слишком сильно: говорят и дѣйствуют обѣ стороны. Но в характерѣ разговоров и дѣйствій есть несомнѣнная разница с совсѣм недавним прошлым. «Разстановка фигур» в виду предстоящей кровавой «игры», конечно, продолжается. Но темп разстановки — другой, иниціатива начинает переходить к демократіям; представители «оси» заговорили в минорном тонѣ и вмѣсто прежних угроз усиленно увѣряют, что всѣ их дѣйствія клонятся к сохраненію мира. Какія это дѣйствія, увидим.

Демократическія державы ищут и находят новых союзников. Тоталитарныя — не находят новых и начинают терять прежних. Наглядным примѣром этого служит безплодное пребываніе фон Папена в Турціи — и заключеніе, во второй половинѣ мѣсяца, англо - турецкаго и недалекаго по времени — франко - турецкаго соглашеній. Другой примѣр представляет измѣнившееся положеніе в самом невральгическом пунктѣ Европы — в Польшѣ. 5 мая полк. Бек произнес в варшавском сеймѣ рѣчь, в которой категорически подчеркнул, что Польша не откажется от Данцига, как от выхода в Балтійское море и центра морской торговли и политики. И вот уже цѣлый мѣсяц, как нависшая над Данцигом угроза, несмотря на полную подготовку захвата, отодвигается куда-то в будущее. Идея кончить дѣло плебисцитом, возбудившая крайнее раздраженіе в Польшѣ, вдруг оказывается излишней. «Мы и без плебисцита знаем, кто мы такіе», — заявляют данцигскіе наци. Ко-

нечно, антипольскія демонстраціи продолжаются при содѣйствіи пріѣзжих из Германіи «гостей» и даже усиливаются; но онѣ встрѣчают энергичный отпор — и по сравненію с судетской исторіей дѣло пока не выходит из этой подготовительной стадіи.

Очень характерна в этом отношеніи «проба сил», произведенная наци над польскими таможнями на данцигской границѣ. План был довольно ясен: захватить и разрушить таможенныя зданія; если Польша стерпит, — уничтожается ея главная привилегія; если будет защищаться, — готов инцидент, который можно раздуть в повод к военной оккупаціи. Стычка произошла, один из нападавших террористов наци был убит. Но польское правительство потребовало от данцигскаго сената разслѣдованія, возмѣщенія убытков и гарантій безопасности на будущее. Сенат попробовал отклонить отвѣтственность и потребовал отставки виновных, но получил новый рѣзкій отвѣт. Повод к разрыву готов, но... разрыва нѣт и едва-ли будет по этому поводу. Общественное мнѣніе Польши видит теперь главную опасность не со стороны Россіи, а со стороны Германіи; возраженія против поддержки СССР слабѣют, хотя правительство и не рѣшается оформить этой поддержки договором. «Данциг наш — и будет нашим», повторяют пока германскія газеты и утверждает Геббельс в кельнской рѣчи.

Не весьма удачно разыгралась и германская попытка предложить перечисленным Рузвельтом государствам — гарантировать их от нападенія. Из скандинавских государств Швеція, Норвегія, а с ними и Финляндія, отказались от германской гарантіи. Только Данія, которой германское вторженіе грозит непосредственно, не рѣшилась на формальный отказ. В качествѣ оборонительной мѣры на Балтійском морѣ поднят вопрос об укрѣпленіи Аландских островов. Правда, это затронуло интересы Россіи, и СССР потребовал отсрочки обсужденія этого вопроса в Лигѣ Націй до выясненія дѣла.

Чрезвычайныя мѣры употребил Гитлер, чтобы по крайней мѣрѣ закрѣпить за собой своего главнаго союзника, Муссолини, который все болѣе и болѣе начинает чувствовать на себѣ тяжесть германской дружбы. Союз Турціи с европейскими демократіями совершенно измѣнил положеніе в восточной части Средиземнаго моря — в зонѣ, предоставленной в распоряженіе Италіи, — и у входа в Черное море, гдѣ теперь никакой «Гебен» не сможет грозить прибрежным государствам, — в том числѣ, кромѣ Россіи, и

Румыніи с Болгаріей. Опека над самой Италіей друзей, постепенно превращающихся в хозяев, охватывает итальянцев сжимающимся желѣзным кольцом — и вызывает растущее негодованіе итальянцев. Экономическое положеніе Италіи Муссолини открыто об'явил «катастрофическим». Но — Гитлер поспѣшил послать в Италію Риббентропа с предложеніем, в отвѣт на союз Турціи с демократіями, заключить формальный военный союз. Очевидно, отступленіе оказалось невозможным; 7 мая состоялось в Миланѣ свиданіе Риббентропа с Чіано, а через недѣлю в Туринѣ Муссолини произнес довольно двусмысленную рѣчь. С одной стороны, «в Европѣ нѣт таких вопросов, которые могли бы быть разрѣшены только войной», а, с другой, — есть, все-таки, неотложные вопросы, которые до установленія мира нужно разрѣшить немедленно. И Чіано, все же, пришлось ѣхать в Берлин для демонстративнаго заключенія союза, который, на всякій случай, набросил на колеблющагося союзника новую крѣпкую петлю.

Союзный германо - итальянскій договор был заключен 22 мая с явной цѣлью произвести впечатлѣніе угрозы во-внѣ. Но ... подход к этой угрозѣ — постепенный и осторожный. Начинается с «постояннаго контакта», который открывает переход к «обсужденію мѣр» в случаѣ «опасности для общих интересов»; если опасность грозит «жизненным интересам», то обѣщается «политическая и дипломатическая поддержка», и только уже тогда, когда «вопреки желаніям и надеждам одна сторона будет *втянута* во враждебныя дѣйствія, другая обязуется немедленно поддержать ее всѣми военными силами». Повидимому, имѣются и секретныя статьи, смягчающія эту ограниченную безусловность дальнѣйшими договорами о разницѣ жизненных интересов в различных зонах вліянія того и другого союзника.

Другому члену «оси», Японіи, удалось, повидимому, сразу ускользнуть от германских черезчур тѣсных об'ятій. Прибавить к антикоминтернскому пакту прямыя новыя обязательства она справедливо нашла черезчур обременительным.

Не только в европейскія воды она идти не собиралась, но и в дальневосточных водах почувствовала себя менѣе сильной, чѣм прежде. Захват Амоя и высадка на островѣ Ку-Ланг Су вызвали на этот раз не только словесные протесты. К острову подошли и произвели высадку американскія, англійскія и французскія суда. Это был первый случай прямого воздѣйствія на новую

попытку японскаго захвата в районѣ концессій. И японцам пришлось благоразумно ретироваться, перенеся свои возраженія против неприкосновенности иностранных концессій *в Китаѣ* на почву военных операцій с Китаем. 20 мая в Токіо состоялось бурное засѣданіе пяти министров, в результатѣ котораго соглашеніе с Берлином и Римом отсрочено до «изученія и принятія окончательных предложеній Японіи». Нетрудно догадаться, что эти предложенія ограничивают активность японской политики Дальним Востоком и отношеніями с СССР, отклоняя участіе в конфликтах на европейских театрах. В то же время Японія, видимо, рѣшила усилить свою активность в собственной сферѣ и, под впечатлѣніем близящагося соглашенія Франціи и Англіи с СССР, прибѣгла к вызывающим дѣйствіям против обѣих демократій в дальневосточных водах. Британскій и французскій пароходы были задержаны — и тѣм установлена блокада китайскаго побережья; в то же время высказана угроза — послать на остров Ку - Ланг - Су новыя подкрѣпленія.

Гитлер вознамѣрился было воспользоваться англо - турецким союзом, чтобы возстановить против Турціи других членов балканской антанты, Югославію и Румынію. По мнѣнію Германіи, заключив союз помимо соглашенія с балканской антантой, Турція нарушила свои обязанности и развязала руки союзу. Но Румынія уже выбрала свою позицію, а Югославія едва-ли сдвинется с позиціи строгаго нейтралитета. Свиданіе Марковича с Гафенко на Дунаѣ в маѣ едва-ли внесло что-либо новое.

Как видим, цѣлый ряд симптомов показывает, что не только ослабѣла наступательная энергія «оси», но и занятыя - было позиціи приходится, если не оставлять одну за другою, то с трудом удерживать за собою.

Что мы видим на сторонѣ демократическаго блока? Настроеніе там продолжает оставаться рѣшительным и увѣренным. Англія провела через палату закон о воинской повинности и принимает соотвѣтствующія мѣры. Франція, благодаря Полю Рейно, укрѣпила свое финансовое положеніе. Даладье заявил 11 мая, при возобновленіи парламентской сессіи, что в виду насильственных дѣйствій и военных угроз извѣстных держав, Франція не только не будет ослаблять, но напротив усилит національную оборону, что ея «моральная мобилизація» не дрогнет перед «новой формой войны без сраженій», что «ни силой, ни хитростью» с Франціей ничего незьзя сдѣлать и что тѣ, «кто нарушат мир, испытают силу

французскаго оружія». В тот же день Чемберлэн заявил в палатѣ еще конкретнѣе, что «если над польской независимостью повиснет угроза, то это неизбѣжно вызовет всеобщее столкновеніе, и Англія будет в него втянута». Он согласился с Блюмом, что «самая серьезная опасность грозила бы, если бы создалось впечатлѣніе, что рѣшимость Англіи и Франціи не окончательная и что онѣ не выполнят своих обѣщаній», «Мы не останемся в сторонѣ, если будет уничтожаться независимость одной страны за другой».

На этой почвѣ пріобрѣл особенную остроту в общественном мнѣніи обѣих демократій вопрос о завершеніи круга новых соглашеній и обязательств договором с совѣтской республикой. Практическая необходимость такого договора была, наконец, вполнѣ сознана, но его осуществленіе натолкнулось на психологическія препятствія — не только со стороны западных демократій, но и со стороны СССР. Первым сюрпризом на этом пути оказалась, прежде всего, неожиданная отставка Литвинова, послѣдовавшая 3 мая. Был-ли это акт внутренней политики Сталина, в духѣ прежних ликвидацій засидѣвшихся на мѣстах старых сотрудников? Или отставка прежняго исполнителя сталинских распоряженій по внѣшней политикѣ означала предстоящую перемѣну в характерѣ самых этих распоряженій?

Если это так, то в каком направленіи шла эта перемѣна? Не считал - ли Сталин, что Литвинов слишком далеко зашел в невольных уступках предложеніям «капиталистических» держав, отказавшись от дымовой завѣсы абсолютных и явно - неисполнимых требованій СССР? Если Сталин вообще против сближенія с западными демократіями, то значит-ли это, что он не хочет принимать на себя никаких обязательств, могущих втянуть Россію в войну, или же что он даже предпочитает сблизиться с противоположной стороной?Тут, кстати, появилось нѣсколько новых разоблаченій относительно возможности сближенія Сталина с Гитлером. Но с другой стороны от Бека шло сообщеніе, что Гитлер нѣсколько мѣсяцев тому назад предлагал Польшѣ подѣлить Россію, но Польша от этого отказалась. Словом, в ближайшіе дни послѣ отставки Литвинова и назначенія Молотова не было предѣлов гаданіям. Скоро, конечно, послѣдовало обычное в таких случаях успокоительное заявленіе, что политика при новом представителѣ вѣдомства остается неизмѣнной. Но что это значило? Переговоры могли теперь возобновиться, но на каких основаніях?

Как бы ни толковать отставку Литвинова, было очевидно, что на намѣтившихся ранѣе основаніях СССР на соглашеніе не пойдет и будет совершенно прав, независимо от того, боится-ли вообще Сталин ввязаться в войну или не боится. Англійскія предложенія, прежде всего, не гарантировали Россіи в случаѣ нападенія Японіи. От этой гарантіи СССР отказался. Гарантировав Польшу и Румынію, Англія не думала распространять свои обязательства на балтійскія страны, Литву, Латвію и Эстонію, через территорію которых могло грозить СССР непосредственное германское нападеніе, так как Россія теперь отрѣзана от балтійскаго берега.Наконец, вообще, СССР хотѣл соглашенія на началѣ полнаго равенства, т. е. на основаніи взаимной гарантіи в случаѣ германскаго нападенія. Если, при таких условіях, германское нападеніе на СССР приняло бы характер серьезной угрозы, то, естественно, увеличивалась вѣроятность возвращенія СССР к давно приписывавшемуся Сталину намѣренію — лучше уже сблизиться с Германіей. Как раз появилась на-днях в «Сатюрдай Ивенинг Пост» (приведено в «Новой Россіи») статья ген. Кривицкаго, исполнявшаго важныя порученія по заграничной развѣдкѣ и недавно покинувшаго совѣтскую Россію. Ген. Кривицкій разсказывает о старом секретном соглашеніи между Москвой и Берлином, о разрывѣ отношеній между герм. и красной арміями при Гитлерѣ, о дальнѣйших упорных авансах Сталина, предпочитающаго гитлеровскій тоталитаризм демократической «распущенности» и желающаго сблизиться с Гитлером — и, наконец, о сближеніи СССР с демократіями и с Лигой Націй, которое с этой точки зрѣнія было только временной махинаціей Сталина, с цѣлью — попугать Гитлера и склонить его, в концѣ концов, к соглашенію с СССР.

Поставленное между страхом этого сближенія и нежеланіем Чемберлэна расширять далѣе уже данныя Англіей новыя обязательства, французское правительство выработало компромиссное предложеніе.Оно должно было обсуждаться в Парижѣ—перед окончательным рѣшеніем вопроса во время сессіи Лиги Націй в Женевѣ, с участіем представителя СССР. Но тут ожидала новая непріятность: вмѣсто Потемкина, который должен был предсѣдательствовать в сессіи Лиги, Сталин почему-то послал в Женеву Майскаго, лондонскаго представителя. И наканунѣ парижскаго свиданія Чемберлэн произнес в палатѣ общин длинную рѣчь, в которой обставил переговоры с СССР цѣлым рядом туманных оговорок. Он

не желал, чтобы соглашеніе с СССР носило «идеологическій» характер, так как иначе получит лишнюю силу представленіе Германіи, что ее «окружают». Тут слѣдовал прозрачный намек: в таком случаѣ миру может грозить, вмѣсто укрѣпленія, лишняя опасность. Вѣдь Германія «не оставила агрессивных помыслов относительно других народов» (читай: Данциг), и нѣт «абсолютной увѣренности, что возможныя уступки (читай: в пользу СССР) не облегчат посягательства на свободу других народов» (читай: Польши). Другими словами, Чемберлен продолжает разсчитывать умиротворить Гитлера, оставаясь в предѣлах уже принятых мѣр для сохранепія мира; всякій дальнѣйшій шаг уже грозит прорывом тонкой ткани. Нельзя не усмотрѣть в этих оговорках слѣдов мюнхенских настроеній; и не без основанія в том же засѣданіи Чемберлен подвергся рѣзким нападкам со столь различных сторон, как Черчиль, Ллойд - Джордж и Эттли.

Нельзя сказать, чтобы, послѣ этого выступленія, дальнѣйшіе переговоры шли с желательной быстротой. Сильный толчок им дало упомянутое французское компромиссное предложеніе. Послѣ совѣщанія Галифакса с Даладье и Боннэ в Парижѣ, 20 мая, оно приняло форму согласія всѣх трех держав считать нападеніе на одну из них — нападеніем на всѣх и вызвать немедленную поддержку со стороны других. В случаѣ нападенія на Польшу, Турцію, Румынію и Грецію три державы примут рѣшеніе послѣ обсужденія (причем намѣчались и другія малыя государства). Наконец, предусматривалось дальнѣйшее совѣщаніе по другим вопросам. Этот проект Галифакс и Боннэ обсуждали затѣм 21 - 22 мая с Майским в Женевѣ. 24 мая Галифакс доложил о ходѣ переговоров лондонскому кабинету, и в тот же день Чемберлэн в палатѣ выразил надежду на «возможность полнаго соглашенія в кратчайшій срок» — послѣ того, как будут «урегулированы нѣкоторые пункты», не представлявшіе трудности, но требовавшіе новой отсрочки «до окончанія вакацій». Берлин, конечно, обезпокоен этим ускореніем переговоров и в спеціальном сообщеніи «для за-границы» погрозил, что «тоталитарныя государства не преминут отвѣтить на эту новую инціативу окруженія». В столь же офиціозном порядкѣ Лондон отвѣтил, что принятыя им новыя обязательства «приводятся в дѣйствіе лишь в случаѣ какого - либо агрессивнаго акта». Но путь к «переговорам» вѣдь остается всегда открытым. 25 мая, когда пишутся эти строки, открылась сессія Верховнаго Совѣта

СССР, и предстоящая рѣчь Молотова должна будет дать тот или иной отвѣт на новыя предложенія Англіи и Франціи.

Чѣм же на все это отвѣтил Гитлер? Его отвѣты, в самом дѣлѣ, больше походили на демонстраціи, чѣм на рѣшительныя дѣйствія. Об'ѣзд «линіи Загфрида» — с краткими заявленіями о «непобѣдимости» Германіи — не прибавил ничего новаго к установившемуся трафарету. Послѣдняя — из сокращенной программы — рѣчь Муссолини в Кони (20 мая) ограничилась тоже повтореніем угрозы «навязать мир» при помощи «ста пятидесяти милліонов», ссылкой на туринскую рѣчь и заявленіем, вполнѣ своевременным, что дуче теперь «будет молчать». На слѣдующій день послѣдовало заключеніе германо - итальянскаго союза; но послѣ всего предыдущаго было ясно, что и этот акт был навязанной союзнику демонстраціей. Свиданіе на Дунаѣ могло привести к разрыву балканской антанты, как хотѣлось бы Гитлеру. Наконец, и Японія, как мы видѣли, не захотѣла участвовать в европейской политикѣ Гитлера. Все это оставляет положеніе со стороны тоталитарных держав в состояніи полной неопредѣленности, замѣнившей прежнюю прозрачную ясность. Заявленіе Геббельса в Кельнѣ: «мы идем только на рискованныя вещи» звучит полнѣйшим анахронизмом. Эта тактика казалась грозной, пока она скрывалась, и потеряла вѣс, превратившись в громкую фразу.

К сожалѣнію, этот обзор, свидѣтельствующій о дальнѣйшем ростѣ бодрых настроеній среди демократій и о первых благих послѣдствія их рѣшимости дѣйствовать, приходится закончить печальным фактом. Послѣ фатальнаго Мюнхена - германскаго, Чемберлэн рѣшил предпринять — все в тѣх же видах подготовительной разстановки фигур — Мюнхен - арабскій. 17 мая была опубликована еще одна «Бѣлая книга» с цѣлью «примирить» арабов с евреями в Палестинѣ. Способ, которым это сдѣлано, обнаруживает ту же близорукость и то же непониманіе дѣла, как и Мюнхен - нѣмецкій. Можно, пожалуй, сказать даже, что в этом случаѣ близорукость и непониманіе еще больше, и ликвидація арабскаго Мюнхена так же неизбѣжна, как и ликвидація германскаго. Одним почерком пера зачеркнуто обѣщаніе Бальфура, давно понятое и осуществленное, как обѣщаніе еврейскаго независимаго «государства», давно закрѣпленное международным мандатом, исключавшим, казалось, всякія дальнѣйшія колебанія. Вѣра в нерушимость мандата уже успѣла создать чудеса, превратив камни в

людей и пески в плодородныя поля. Еврейское «государство» фактически уже больше чѣм на половину построено, поселены на пустых мѣстах полмилліона энтузіастов еврейскаго возврата из вѣковаго изгнанія, вложены огромные капиталы труда и денег на превращеніе пустыни в культурную страну, обновлена древняя оригинальная культура — и уже начала давать свои первые творческіе плоды... И вдруг, одним махом, разрывается декорація и вчерашніе творцы новаго земного рая оказываются прежними изгнанниками в старом «гетто», слегка пріукрашенном бумажными красками «меньшинства». Это будущее меньшинство, впрочем, пробуют утѣшить тѣм, что оно, все равно, сильнѣе культурно и экономически, нежели «большинство» бедуинов пустыни.

Взрыв понятнаго негодованія, выразившагося в насильственных дѣйствіях палестинской молодежи против британских опекунов, быстро уступил мѣсто сдержанному сопротивленію и спокойной увѣренности, что «бумага» будет скоро разорвана и брошена, как и ея предшественницы, в корзину исторіи. Англійскія газеты уже подсказывают путь к выходу из нелѣпаго положенія: прежде всего — освобожденіе процесса эмиграціи от только - что наложенных тисков; затѣм «автономія» двух половин «государства», которое — через десять лѣт — обѣщано арабам; наконец, — «федерація» между ними. И, как варіант, — простое возвращеніе к проекту полнаго раздѣла — послѣ того, как автоматически опредѣлятся окончательныя границы между двумя будущими «государствами»... Рѣшительно не удаются Чемберлэну его повторенія «Мюнхена». Правительственное большинство в пользу «Бѣлой Книги» упало до 268 (из общаго числа 413 сторонников правительства), тогда как оппозиція собрала 179 голосов, т. е. правительство побѣдило всего 89-ю голосами. Два министра вовсе не явились в палату.

Важнѣйшія событія

МАЙ

1. Чемберлэн внес в палату общин законопроект о воинской повинности. Либералы отказались от оппозиціи ему.

— В первомайском приказѣ Ворошилова по красной арміи сказано, что «совѣтскій союз готов защищать государства, которыя явятся жертвами нападенія, и будет отстаивать с оружіем в руках свою собственную независимость».

2. Из Англіи высланы 10 нѣмцев за гитлеровскую пропаганду. Среди

них — сотрудники германскаго бюро туризма, хозяйка «политическаго салона» бар. ф. Гризгейм и др.

3. Уволен в отставку, «по состоянію здоровья», Литвинов. Наркоминдѣлом назначен Молотов, сохраняющій пост предс. совнаркома.

— Продолжается высылка из Англіи германских подданных. В видѣ репрессіи, гестапо высылает из Германіи англійских журналистов, инженеров и т. д.

— Риббентроп выѣхал в Италію.

4. В виду неблагопріятнаго впечатлѣнія, произведеннаго в Лондонѣ отставкой Литвинова, и слухов о готовящемся, будто бы, германо - совѣтском сближеніи, Москва официально раз'яснила, что внѣшняя политика СССР остается без измѣненія.

5. Полк. Бек произнес в сеймѣ большую рѣчь в отвѣт Гитлеру: «Польша не уступит ни пяди своей территоріи, ни атома своего суверенитета; Польша готова вступить в переговоры о дальнѣйшей судьбѣ Данцига, но заранѣе предупреждает, что считает его своим «жизненным пространством».

6. Японія вручила германскому и итальянскому послам отвѣт на предложеніе превратить антикоммунистическій пакт в военный союз. Токіо от этого отказывается, соглашаясь лишь «усилить» антикоммунистическій пакт в сторону СССР. В случаѣ европейской войны Японія будет соблюдать по отношенію к Германіи и Италіи «дружественный нейтралитет».

— Лондон не принял предложенія Москвы о заключеніи тройственнаго союза (Англія — Франція — СССР). Переговоры продолжаются.

— Папа Пій XII предложил великим державам, через посредство своих нунціев, созвать конференцію пяти (Англія, Франція, Германія, Италія и Польша) для мирнаго рѣшенія данцигскаго спора. Предложеніе не встрѣтило сочувствія.

— Потемкин, закончив свою миссію в Турціи, об'ѣзжает балканскія столицы.

7. В Миланѣ состоялось свиданіе Чіано - Риббентроп. Офиціально сообщено, что между Германіей и Италіей заключается военный союз.

— Польское офиціозное агентство сообщило, что во время прошлогодняго свиданія между Герингом и Беком, в Бѣловѣжской пущѣ, Геринг предложил Польшѣ союз с цѣлью раздѣла Россіи, но что Польша это предложеніе отклонила, «ибо сама была многократной жертвой подобной несправедливости».

8. Послѣ промежутка в два года, Москва назначила полпредом в Варшаву Шаронова.

9. Конференція скандинавских государств отклонила, за исключеніем Даніи, предложеніе Германіи, выразившей готовность предоставить им свою «гарантію от нападенія»: заключеніе взаимных пактов противорѣчило бы основному принципу скандинавских держав — «не примыкать ни к какой группѣ націй, которая может образоваться в Европѣ».

10. Заключено англо - турецкое соглашеніе. В случаѣ нападенія, которое повлекло бы за собой войну в средиземноморском бассейнѣ, оба государства обязаны друг друга поддерживать.

— Дѣятельно продолжаются англо - совѣтскіе переговоры. Майскій имѣл ряд бесѣд с Галифаксом, а британскій посол в Москвѣ Сидс был принят Молотовым.

— Потемкин прибыл в Варшаву и бесѣдовал с Беком.

11. Французская палата депутатов выразила довѣріе правительству большинством 375 голосов против 230, одобрив как внѣшнюю, так и внутреннюю политику Даладье.

— Чемберлэн заявил в рѣчи в Альберт - Холлѣ, что «Англія не останется в сторонѣ, если будет уничтожаться независимость одной страны за другой».

12. Японскія войска высадились в иностранной концессіи Амои.

13. Погибли во время пробнаго полета Полина Осипенко и Анатолій Сѣров, выдающіеся русскіе авіаторы. Британскій посол в Москвѣ Сидс выразил Молотову соболѣзнованіе.

14. Муссолини заявил в Туринѣ, что «сейчас не существует разногласія, способнаго вызвать войну», и что «узлы можно развязать, а не разрубить». Но необходимо предварительно разрѣшить текущіе вопросы и надо спѣшить, ибо всякому терпѣнію есть конец.

15. Король Зогу обратился к Лигѣ Націй с протестом по поводу насильственнаго захвата Албаніи Италіей.

16. Совѣтским делегатом в Женеву назначен Майскій, а не Молотов и не Потемкин, как предполагалось значалѣ. В Лондонѣ это вызвало разочарованіе.

17. Англійское правительство опубликовало «Бѣлую Книгу» — план новаго устройства Палестины: в теченіе 10 лѣт Англія берет на себя подготовку независимаго палестинскаго государства; еврейская иммиграція ограничивается 75 тысячами в первыя 5 лѣт, затѣм она будет допускаться лишь с согласія арабов; запрещается продажа арабских земель евреям; в будущем правительствѣ евреи и арабы примут участіе пропорціонально численности населенія.

— В Швейцаріи открылся аукціон картин и статуй из германских музеев, которыя правительство продает «за несозвучность національ - соціалистической эпохѣ».

— Поль Рейно заявил в финансовой комиссіи, что за послѣдніе 6 мѣсяцев во Францію вернулось из за-границы 20 милліардов фр.

— Германія начала возводить на польской границѣ «линію Зигфрида».

18. В Палестинѣ начались безпорядки в связи с опубликованіем «Бѣлой Книги». Еврейское населеніе об'явило однодневную забастовку и пост в знак протеста против нарушенія Англіей деклараціи Бальфура.

— Суда Англіи, Франціи и Америки высадили матросов возлѣ интернаціональной концессіи Амои (против о. Формозы).

19. В Іерусалимѣ возникли уличные безпорядки. Есть убитые и раненые.

— Американскіе евреи протестуют против Бѣлой Книги.

— Арабскій с'ѣзд в Каирѣ высказался против Бѣлой Книги.

— Италія официально об'явила о предстоящем уводѣ «легіонеров» из Испаніи.

— Галифакс прибыл в Париж и совѣщался с Даладье о новом предложеніи, которое Англія и Франція собираются сдѣлать совѣтской Россіи.

21. На территоріи Данцига произошел серьезный инцидент: группа наци напала на польскій таможенный пост и на автомобиль представителя польской миссіи; шоффер стрѣлял в нападавших и убил одного наци.

— Заключен германо - литовскій

пакт. Германія поможет Литвѣ создать новый порт к югу от Мемеля.

22. В Берлинѣ подписан итало - германскій пакт.

— Открылась сессія Лиги Націй.

— Данцигскій сенат потребовал выдачи шоффера, стрѣлявшаго в толпу наци. Польша отказала.

— В Нью - Іоркѣ покончил самоубійством германскій писатель Эрнст Толлер.

— Безпорядки в Палестинѣ прекратились. Протесты против Бѣлой Книги продолжают поступать от евреев всѣх европейских стран.

23. Палата общин большинством 268 голосов против 179 одобрила Бѣлую Книгу; Черчиль, Эмери и др. присоединились к оппозиціи.

24. Удалось спасти 33 из 59 — экипажа американской подводной лодки «Сквалюс», затонувшей на глубинѣ 80 м.

— Чемберлэн заявил в палатѣ общин о возможности скораго соглашенія с совѣтской Россіей.

— На территоріи Данцига произошла серія новых инцидентов между наци и поляками. Польскій верховный комиссар Ходацкій заявил протест.

25. В СССР открылась сессія Верховнаго Совѣта.

— Японія устанавливает фактическую блокаду китайскаго побережья.

26. Гранди произнес перед чинами итальянскаго посольства в Лондонѣ рѣчь, в которой говорил о «безсильной злобѣ и бѣшенствѣ» противников Италіи.

— На первом засѣданіи Верховнаго Совѣта СССР секретарь центральнаго совѣта профсоюзов заявил, что страна не остановится ни перед какими жертвами для національной обороны.

— Ворошилов приглашен в Англію на осенніе маневры.

27. Французскій и англійскій послы вручили Молотову текст новаго предложенія Парижа и Лондона.

— Закрылась 105-ая сессія Лиги Націй. Вопрос об Аландских островах снят с очереди.

28. Работы по сооруженію укрѣпленій на германской линіи Зигфрида оказались плохо выполнены, и разлив Рейна привел их в негодность. Послѣ разслѣдованія нѣсколько военных инженеров арестовано и предано суду.

— Карделл Халл обратился к предсѣдателям парламентских комиссій по иностранным дѣлам с письмом, в котором выражает пожеланія правительства: 1) упразднить эмбарго на оружіе для воюющих сторон, 2) запретить американским судам проникать в боевую зону, 3) ограничить кредиты и займы воюющим сторонам и 4) установить правительственный контроль над продажей оружія.

29. Генерал Прхала, эмигрировавшій из Чехіи в Польшу, намѣрен организовать чешскіе легіоны для освобожденія от нѣмецкаго ига.

— Карделл Халл произнес в Чикаго рѣчь против политики изоляціи.

— В Палестинѣ новая вспышка террора.

— Верховный совѣт СССР принял бюджет на 1939 год: расходы — 155.447.829.000 рублей, доходы — 156.097.829.000 рублей.

— Началась эвакуація из Испаніи итальянских и германских «добровольцев».

— Конгресс соціалистической партіи принял резолюцію, запрещающую членам партіи вступать в коммунистическія организаціи или нахо-

дящіяся под контролем коммунистов.

30. На манчжурской границѣ произошли серьезные японо-совѣтскіе инциденты. Двѣ японскія канонерки подбиты совѣтской артиллеріей. По японским свѣдѣніям, сбито 30 совѣтских аэропланов.

— Исмет - Анону заявил, что, в случаѣ войны, турецкій народ безоговорочно выступит на сторонѣ Англіи и Франціи. Отношенія между Турціей и Россіей никогда не были так хороши, как сейчас.

— Конференція англійской рабочей партіи отказалась (1.670 тыс. голосов против 286 тыс.) от отрицательнаго отношенія к обязательной воинской повинности.

31. В Лондон выѣхала турецкая военная миссія.

— Бенеш открылъ чехо-словацкій павильон на всемірной выставкѣ в Нью-Іоркѣ.

Издательство „Русскія Записки“

51, rue de Turbigo, Paris (3).

Вышла в свѣт новая книга:

„З И Г З А Г“

цѣна во Франціи — 35 фр. За-границей — 1 дол. 10 ц.

Ранѣе вышли:

М. А. Алданов. — Начало конца.
Цѣна во Франціи — 35 фр.; за-границей — 1 д. 20 ц.
М. А. Алданов. — Бельведерскій торс. Линія Брунгильды.
Цѣна во Франціи — 25 фр.; за-границей — 0.85 ц.
Б. К. Зайцев. — Москва.
Цѣна во Франціи — 30 фр.; за-границей — 1 дол.
Фр. Моріак. — Волчица (перев. Г. Кузнецовой).
Цѣна во Франціи — 15 фр.; за-границ. — 0.70 ц.
В. В. Сирин. — Соглядатай.
Цѣна во Франціи — 25 фр.; за-границ. — 0.85 ц.
Н. А. Тэффи. — Нѣжность.
Цѣна во Франціи — 25 фр.; за-границ. — 0.85 ц.

Готовятся к печати:

М. А. Алданов. — Давнее.
В. В. Сирин. — Весна в Фіальтѣ.

Адрес Издательства: «ANNALES RUSSES»
51, rue de Turbigo, PARIS (3e).

БИБЛІОГРАФІЯ

Александр Гингер. Жалость и Торжество. Третья книга стихов. — Париж, 1939 г.

В современной русской (зарубежной) поэзіи Гингер стоит особняком — он ни на кого не похож, не связан ни с какими литературными теченіями. Он оригинален рѣшительно во всем — начиная со своего словаря и синтаксиса, кончая своим совершенно особенным міровоззрѣніем, которое я назвал бы великолѣпным равнодушіем. На каждой строчкѣ его стихотвореній, даже на самых простых строфах видна его собственная печать, и его стихи никогда не спутаешь со стихами других парижских поэтов:

Зовет меня, но тщетно, воля злая
Людей чужих.
Им не желаю ни добра, ни зла я,
Не вижу их.

Эта острая оригинальность, подчас настолько острая, что невольно начинаешь бояться — как бы не побѣдил поэта акробат и фокусник, конечно, оказывается очень многим не по душѣ. Читатель обыкновенно боится того, к чему надо привыкать, ему пріятно, если он сразу угадывает, откуда пришел данный поэт и куда он идет. С Гингером всѣ догадки безполезны. Его очень трудно полюбить, да и он сам как будто очень мало заботится об этом — он мучительно боится всякой красивости, всего, чѣм можно соблазнить читателя. Но за то, раз полюбив, невозможно пройти равнодушно мимо его стихотвореній — они привлекают к себѣ, даже когда они бывают слабы: и в неудачах Гингер остается оригинальным и интересным.

В маленьком сборникѣ — на 43 страницах умѣстилось почти все, что Гингер написал за 15 лѣт! — есть одно стихотвореніе, которое хотѣлось бы особенно подчеркнуть: оно является как бы символом вѣры поэта, и в нем Гингер, быть может впервые, вполнѣ открылся читателю:

Нѣт, я вырос без церкви, без быта.
Как же стало, что с каждой весной
Очевиднѣй, сильнѣе открыта
Глубина, ширина надо мной?

. . . . . .

Сколько радости было дано мнѣ!
Эти сорок счастливѣйших лѣт.

Не бывает удача огромнѣй,
Не бывает блистательнѣй свѣт.

В этом стихотвореніи, написанном с предѣльной искренностью, — весь Гингер. Мы не настолько избалованы хорошими стихами, чтобы имѣли право пройти равнодушно мимо этих строк.

Сергѣй Осокин

И. А. Бунин. Лика. — Изд-ство «Петрополис», Брюссель.

Как ни восхищает все, написанное Буниным за послѣднія двадцать лѣт, «Жизни Арсеньева» все же принадлежит первое мѣсто среди этих, да и всѣх его писаній. Ничто не сравнится с медленным и неудержимым ритмом повѣствованія, с его спокойной силой и свободной широтой. Когда книга будет закончена, она займет одно из самых значительных мѣст в литературѣ нашего вѣка, к которой — что бы ни думали торопливые поклонники мнимой новизны — она существом своим принадлежит, перекликаясь с характернѣйшими из ея твореній, роднясь с ними уже и тѣм, что она — не роман, а пронизанное воображеніем воспоминанье и что к творчеству присоединяется в ней еще и мысль о творчествѣ, чувство творчества.

В той части ея, что названа «Лика», тема творчества сплетается с темою любви. Трагическій конфликт, в результатѣ котораго гибнет Лика и незаживающая рана открывается в душѣ Арсеньева, рожден жаждою творчества, рождающей в свою очередь такую жадность к жизни, которая неизбѣжно переплескивается за предѣлы всякаго отдѣльнаго жизненнаго содержанія. Как ни подлинна любовь Арсеньева, Лика не может быть единственным ея предметом, не столько потому, что **рядом** с ней есть другіе предметы, т. е. весь мір, сколько потому, что она безсильна задержать на себѣ любовь, которая как бы **сквозь** нее обращается ко всему в мірѣ. Грѣх Арсеньева по отношенію к Ликѣ проистекает на всѣх своих ступенях, не из распыленности его вниманія или чувственности, а из поглощенности всего его существа нѣкоей творческой задачей.

Самое ощущеніе этой задачи только еще у Пруста выражено с той же ясностью. «Я чувствовал, — читаем мы у него, — что еще не дохожу до самой глубины моего впечатлѣнія, что есть что-то за этим движеніем, за этим свѣтом, что-то, что как будто сразу и заключается в них и прячется за ними». Это очень родственно многому из того, что говорит Арсеньев, особенно его словам Ликѣ: «Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться: иногда какое - нибудь мое представленіе о чем - нибудь вызывает во мнѣ такое мучительное стремленіе туда, гдѣ мнѣ что-нибудь представилось, то есть, к чему-то тому, что за этим представленіем, — понимаешь: за! — что не могу тебѣ выразить». Вниманіе одного писателя направлено больше на душевный мір, другого — на вещественный, конкретный, но пониманіе творчества у них одно. Юпаго Марселя мучит та-же потребность выраженія и та-же невыразимость вещей, что и его сверстника Арсеньева, и он мог бы повторить за ним: «Образовать в себѣ из даваемаго жизнью нѣчто истин-

но достойное писанія — какое это рѣдкое счастье — и какой душевный труд!»

Двойным волненіем волнует «Лика»: картиной непрестанных, непрощающих, ранящих творческих усилій и зрѣлищем осуществленнаго творчества. Благословеніе завоевано борьбой, продолжавшейся всю жизнь. То, чего Арсеньев написать не мог, то теперь Буниным написано. Точно из первозданной глины вылѣплены навѣк и толстая спина офицера «во всей его воинской сбруѣ», и «непорочно - праздничное платьице» Лики на балу, ея «озябшія, ставшія отрочески сиреневыми руки», и пугающій бѣднаго Костеньку старухин мопс, «раскормленный до жирных складок на загривкѣ, с вылупленными стеклянно - крыжевенными глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком». Все досказано до конца, и музыка все же не убита. Рѣзкія зарисовки, выжженныя каленым желѣзом точныя слова смѣняются страницами почти грознаго в своей не то скорби, не то радости органнаго, наростающаго ликованья, а вслѣд за надгробным рыданіем послѣдних глав идет самая послѣдняя — точно дыханья не хватило — три кратких записи, и голос упал: конец. — От первой до послѣдней страницы это так написано, что девяти десятых того, что считается литературой в Россіи и в эмиграціи, рядом с этим точно и не бывало.

В. Вейдле

М. А. Алданов. «Начало конца», ч. I. — Изд. «Русск. Записок», Шанхай, 1939 г.

Эта книга — едва ли не самое удачное из всѣх художественных произведеній Алданова, так как в ней он ни разу не выходит из границ той области, гдѣ он, дѣйствительно, хозяин — области ироніи. Ирония убивает жизнь (le ridicule tue), но именно потому она иногда необходима: бывают моменты, моменты распада «органичности» жизни, когда приходится слѣдовать методам анатомов и физіологов, для того, чтобы увидѣть в ней то, чего иначе увидѣть нельзя; моменты, когда сознательный человѣк вынужден вынырнуть из жизненнаго потока. А между тѣм, лишь отдаваясь его теченію, и можно создать «роман - поток». Наше время — не для него, и не случайно эта форма сейчас вытѣсняется формой «романа - фуги» («Контрапункт» Хексли, гдѣ на эту форму указывает само заглавіе, «Фальшивомонетчики» А. Жида), вѣрнѣе, пожалуй, «романа - фильма». Роман Алданова и принадлежит как раз к этой категоріи. Показательно, что главные персонажи его романа почти всѣ — люди, для которых уже наступило «начало конца» их собственной жизни: бывшій военный спеціалист царской службы, сейчас числящійся в красной арміи; постарѣвшій международный революціонер; большой, но уже начинающій выходить из моды и сознающій это, французскій писатель. Всѣ они — конченые люди, глядящіе со стороны, «с того берега», прежде всего на самих себя, а вмѣстѣ с тѣм и на окружающую жизнь, и убѣждающіеся, что все, чему они служили, во что вѣровали, чему отдавали свои силы, к чему стремились, или оказалось

уже ненужным, утратившим интерес, или стало предметом признанія, поклоненія, но было осуществлено другими в таком обезображенном, извращенном видѣ, что лучше было-бы ему вовсе не осуществляться. К ним в извѣстном отношеніи можно причислить и полпреда Канчарова - Московскаго (восхитительный для этого «не-арійца» псевдоним; кстати сказать, послѣ незабвеннаго Кременецкаго, это один из лучше всего схваченных Алдановым образов), которому далеко еще до естественнаго конца, но который также ждет его, обуянный двойным страхом: впасть в немилость и умереть от воображаемой болѣзни. Люди эти могут встрѣчаться, бесѣдовать друг с другом, но — и не болѣе. Их жизни не «сплетаются» в одну жизнь, так как в сущности они уже не живут; — почему в «Началѣ конца» и нѣт никакой «интриги» (дословно — «сплетеніе»), а только ряд чередующихся отрывочных эпизодов, которые можно было бы растасовать и иначе; в этом — художественное достоинство книги, а не недостаток, так как такая «внѣшняя» форма как раз наиболѣе соотвѣтствует «внутренней». С этими образами «конченых» людей контрастирует — и это усиливает впечатлѣніе — образ Наденьки, олицетвореніе жизненности, élan vital. Недаром всѣ они так влекутся к ней; каждый, разумѣется, на свой лад, однако так, что никакой подлинной **связи** между кѣм-либо из них и ею, никакого «романа», быть не может; почему и введеніе Наденьки в роман не возстанавливает сознательно развиваемой автором привычной формы романа. Болѣе сложную функцію выполняет другой, стоящій особняком, персонаж романа — Альвера, потомок Раскольникова и Лафкадіо из «Фальшивомонетчиков». Он также человѣк «с того берега»; мыслитель - соціолог, со злой ироніей относящійся ко всѣм нынѣшним идеологіям, вырабатывающій свою собственную философію жизни. Но он — не кончает, а начинает жизнь. Он — олицетвореніе начала «самоутвержденія», «динамичности». Убійство, совершенное им, для него, — как для его прототипов, — средство самоиспытанія, самоутвержденія. Однако, — не только это. Он руководствуется и практическими соображеніями. И кромѣ того: готовясь к убійству, он уже заранѣе переживает все, что по его расчетам должно послѣдовать за этим, и, читая «Преступленіе и наказаніе», он там, гдѣ повѣствуется, как Раскольников приносит повинную, отмѣчает на полях: un fameux crétin, «разумѣя и русскаго автора, и кающагося студента». И совершив убійство и попавшись, он мучается только ожиданіем гильотины, а не упреками совѣсти. Альвера — герой нашего времени, времени, когда человѣк человѣку перестал быть не только «братом», но даже и «волком», и стал просто, так сказать, «предметом потребленія».

«Начало конца» Вислиценуса, Тамарина, Вермандуа совпадает с «началом конца» — не Европы и ея культуры, как принято говорить, но несомнѣнно извѣстнаго житейскаго уклада, извѣстных моральных устоев, — и трудно сказать, что придет этому на смѣну. Иногда начинает казаться, что вот такіе, уже принадлежащіе к прошлому, выключенные из жизни люди одни только сохранили в себѣ человѣческое начало в мѣрѣ необходимой, чтобы сумѣть противостать дѣйствію массоваго психоза ненависти, озлобленія, бездушія. Будь они здоровѣе, моложе,

все равно: на нынѣшнюю жизнь они смотрѣли бы так, на разстояніи, как смотрит на нее сам автор; они, душевно, остались бы «на том берегу». И другой «морали», другого отвѣта на вопрос, в чем-же смысл жизни, кромѣ того, к какому приходит Вермандуа в своих размышленіях, заканчивающих первую часть «Начала конца», он бы не придумал и в том случаѣ, если бы и не удостовѣрился в том, что он уже в сущности заживо погребен: «Дѣлать в жизни свое дѣло, дѣлать его возможно проще, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь... разумный смысл... Жить спокойно, зная, что мір лежит во злѣ. Радоваться рѣдкому добру, принимая вѣчное зло, как общее правило міра».

П. Бицилли

В. Ф. Ходасевич. Некрополь. — Les Editions Petropolis, Bruxelles.

Эта книга составлена из написанных в разное время статей и воспоминаній. Брюссов, Андрей Бѣлый, Гумилев, Блок, Гершензон, Сологуб, Есенин, Горькій. Один перечень этих имен — оглавленія — показывает замысел автора. Из внѣшняго множества лиц проглядывает единство — эпоха: то страшное и загадочное время, начало нашего вѣка, когда русская интеллигенція еще продолжала традиціонно поднимать тост «за здравье тѣх и той», а из под ног апокалиптически уходила земля.

Искусство этого времени — литература, поэзія — жило под знаком символизма. Он то и есть главный герой «Некрополя». Символизм привлекал и будет привлекать многочисленных изслѣдователей и историков той эпохи. В извѣстном смыслѣ он загадка. Поражает это несоотвѣтствіе пышнаго дерева и блеклых цвѣтов, анемичных плодов — дерево познается по плодам. От символизма по настоящему остался вѣдь один только Блок; да и он остался, не как символист, а несмотря на символизм, преодолѣвая в себѣ нѣчто от этого повѣтрія.

В. Ходасевич чувствует необходимость как-то опредѣлить символизм. В одном из лучших своих очерков, — «Конец Ренаты», — он и дѣлает это: «Символисты не хотѣли отдѣлять писателя от человѣка, литературную біографію от личной. Символизм не хотѣл быть только художественной школой, литературным теченіем. Все время он порывался стать жизненно - творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может невоплотимая, правда, но в постоянном стремленіи к этой правдѣ протекла, в сущности, вся его исторія. Это был ряд попыток, порой истинно героических, — найти сплав жизни и творчества, своего рода философскій камень искусства. Символизм упорно искал в своей средѣ генія, который сумѣл бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь,что геній такой не явился, формула не была открыта. Дѣло свелось к тому, что исторія символистов превратилась в исторію разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергіи и часть внутренняго опыта воплощалась в писаніях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляціи».

Нам кажется, что В. Ходасевич ошибается, и эта блестящая харак-

теристика нисколько не опредѣляет спеціально символистов. Найти сплав жизни и творчества старались всѣ высокоодаренные люди во всѣ времена и во всѣх отраслях творчества. (Элементы этого можно найти даже у Суворова). Толстой не мог и не хотѣл отдѣлить в себѣ писателя от человѣка, литературную біографію от личной; а вѣдь Толстого нельзя назвать символистом. Правда, в других мѣстах Ходасевич роняет ряд замѣчаній, догадок которыя нѣсколько ближе опредѣляют сущность символизма. Благодаря богатству фактическаго матеріала и несомнѣнному таланту мемуариста «Некрополь» читается с неослабѣвающим интересом. К сожалѣнію, статьи о Сологубѣ и Есенинѣ, — гдѣ Ходасевич занимается отвлеченным разбором их творчества, — нѣсколько нарушают стройность книги. Лучшіе очерки: о «Ренатѣ» и «Муни»! Очень интересна глава, посвященная Андрею Бѣлому. Автор находит в его жизни и творчествѣ вполнѣ выраженный комплекс Эдипа; насколько это вѣрно, покажут будущіе изслѣдователи, но в своих обоснованіях В. Ходасевич очень тонок и убѣдителен.

В. С. Я.

Bernhard Diebold. — Ein Reich ohne Mitte. — Verlag Oprecht. Zürich-New-York.

Этот огромный по размѣрам роман — около тысячи страниц, напечатанных убористым шрифтом, — первое беллетристическое произведеніе Бернгарда Дибольда, имя котораго в недавних еще Германіи и Австріи знакомо было каждому журналисту, каждому актеру, каждому мало - мальски культурному читателю. Автор нѣсколькихъ, считавшихся классическими, трудов об интерпретаціи ролей классическаго репертуара, об эволюціи сценических постановок, актер, нѣсколько лѣт состоявшій в труппѣ вѣнскаго Бург - Театра, режиссер, об'ѣздившій всѣ крупные города Германіи и Австріи с лекціями о театрѣ, Б. Дибольд с 1917 г. стал во главѣ «Франкфуртер Цайтунг» и редактировал ее до первых лѣтних мѣсяцев 1934-го года. Книга о том, чему свидѣтелем привелось быть Дибольду, написана уже в эмиграціи.

Ошибочно было бы полновѣсную по содержанію книгу Дибольда отнести к такого рода произведеніям «очевидцев», — какія принято оцѣнивать, как матеріал для будущаго историка. Роман Дибольда самоцѣнен и как вполнѣ законченное, стилистически безупречное художественное произведеніе, об'емлющее большой період жизни народа, и как неопровержимо - вѣрный, документально правдивый историческій труд.

Мір театра, журнализма, литературный, издательскій мір — был родной стихіей Дибольда. Он имѣл перед собою широкое поле для наблюденій, вѣрнѣе, для изученія политических, финансовых, партійных групп и обывательской массы. Если мало портретов и мало памфлетическаго элемента в этой обличающей книгѣ, то всѣ участвующіе в этой широкой бытовой картинѣ лица, — а их около восьмидесяти — живут, двигаются, говорят, конспирируют, предают, жертвуют собою, губят себя и других, жаждут счастья, торжества, мести, и так проявляют

свою человѣческую сущность, что в их подлинности не остается у читателя сомнѣній.

Кто дѣлал исторію в той Германіи, которую Дибольд называет «страной без середины», — вѣрнѣе, без туловища, без стержня? Обывательская масса в первые годы послѣ войны, сдва придя в себя, в 1923-ом году (с этого года начинает Дибольд свой роман) оказалась безвольной, запуганной пѣшкой в руках анонимных игроков, декретировавших девальвацію германской марки, обнищаніе одних, обогащеніе других, открывших неискусно возведенные, нерадиво охранявшіеся слабой правительственной властью шлюзы, наводнившіе страну духовной скверной, безстыдством, преступной спекуляціей, темными, низменными вожделѣніями, трусостью и жестокостью.

Трусость в книгѣ Дибольда представлена безотвѣтственными представителями германской интеллигенціи, злоупотреблявшей той привилегированной ролью, какая отведена была ей в послѣвоенной Германіи. Это были люди, или не сумѣвшіе учесть, какую отвѣтственность и какія обязательства возлагает на них обрѣтенная свобода слова и соціальнаго «дѣланія», или не понявшіе, что момент для самоустраненія от борьбы, для ухода в скинію одинокаго творчества был неподходящій, или растерявшіеся перед вынырнувшей на поверхность культурной жизни пошлой и торжествующей самонадѣянностью...

Жестокость, ограниченность, слѣпую безпощадность в уничтоженіи всѣх преград к намѣченной цѣли — иллюстрируют не словами, а дѣлом, в книгѣ Дибольда тѣ люди, которые, сводя еще только личные счеты, шпіоня, предавая, убивая, лакействуя, и вытравляя из своей души чувства родства, дружбы, товарищества, — очень далеки были все-же, в тѣ годы (до 1931 - 32 г. г.) — от мысли о том торжествѣ, к какому привел их ход дальнѣйших событій.

В одном и другом лагерѣ Бернг. Дибольд отмѣчает только по одной сильной, волевой личности, — так бѣдны были «людьми» эти вставшія друг против друга общественныя группы. По одну сторону — коммунист Флакс, спец по забастовкам и террористическим актам, по другую — один из грядущих столпов нац. - соц., спец по предательству, насилію и циничной «на все - готовности». Оба они сильны — ненавистью, слѣпой вѣрой в непогрѣшимость той идеологіи, которой они являются орудіями, и совершенным равнодушіем к человѣческим страданіям. Это равнодушіе в эпических сценах массовых кровавых столкновеній, в уличных кровопролитіях, ими инсценируемых, — придает им нѣкую видимость величія.

Для Бернг. Дибольда трагедія Германіи, о которой он разсказывает слишком, быть может, безстрастно, с слишком олимпійской какой - то об'ективностью, — выразилась в том, что не было в странѣ достаточно дѣйственных сил, какія могли бы предотвратить опасность справа или опасность слѣва, не было здоровой, моральной, культурной, крѣпко слаженной «середины». Только двѣ крайности, — и случайный перевѣс сил на одной сторонѣ и рѣшил участь Германіи на долгіе, быть может, годы.

А. Даманская

L'Opinion américaine et la France. Centre d'Etudes de Politique étrangère, № 8, 1938.

Здѣсь дана сводка ряда докладов, сдѣланных знатоками вопросов, относящихся к области франко - германских отношеній (автор —Jacques Oudiette). Во главѣ организаціи, руководящей работами этого рода, стоит Андрэ Зигфрид, и работы ея ведутся по его, единственно правильному и им самим с небывалой доселѣ послѣдовательностью примѣняемому, методу изслѣдованія **реальной** исторіи современных обществ и режимов, — по методу, так сказ. микроскопическаго наблюденія жизни, не пренебрегающаго никакими «мелочами», ибо обычно как раз эти «мелочи» — petits faits, значеніе которых понял уже Тэн, — являются самыми значительными свидѣтельствами намѣчающихся в данный момент и в данной средѣ тенденцій.

Американское «общественное мнѣніе» о Франціи — сложнѣйшій комплекс представленій различных общественных групп и слоев, представленій, создаваемых школьными учебниками, популярными романами, кинематографическими фильмами, газетными информаціями, но также и личными наблюденіями, случайными и поверхностными, туристов, внимательных людей, продолжительное время пребывающих во Франціи, и т. д. Ясно, сколь эти представленія и обусловленныя ими оцѣнки расходятся между собою по степени отчетливости, соотвѣтствія дѣйствительности, безпристрастія, свободы от всяческих предвзятостей, и как трудно, разбираясь в массѣ соотвѣтствующих «малых фактов», усмотрѣть все - же нѣкоторую главную линію движенія общественнаго мнѣнія, уловить сущность колебаній — обуславливаемаго безконечным множеством отдѣльных, разнороднѣйших, воспріятій, соображеній, влеченій и отталкиваній—общаго «климата». Тѣм цѣннѣе и тѣм значительнѣе, что в результатѣ работы, выполненной как докладчиками, так и автором сводки с полным безпристрастіем (в докладѣ Oudiette'a приведено немало отрицательных отзывов об извѣстных сторонах французскаго національнаго характера и о французской политикѣ, об ея ошибках —и, надо признать, нерѣдко заслуженных), они приходят к выводу, **подтверждающему** газетную информацію послѣдняго времени: общее настроеніе в Америкѣ сейчас — несомнѣнно все болѣе и болѣе в пользу Франціи, и это вызвано в первую очередь реакціей «средняго американца» на внутреннюю и внѣшнюю политику тоталитарных государств, а кромѣ того — преодолѣніем до послѣдняго времени державшагося в Америкѣ представленія о Франціи, как странѣ, впавшей в застой, в состояніе старческой «эвфоріи», равносильной «эвтаназіи», как в области внутренней политики (такое представленіе держалось вплоть до вступленія Франціи на путь новаго соціальнаго законодательства), так и внѣшней.

П. Бицилли

Oifn Scheidweg. Au Carrefour. — Cahiers publiés sous la direction de E. Tsherikower et I. Jefroykin. — № 1. Avril, 1939. Paris.

«На Распутьи» — сборник статей, посвященных тѣм же вопросам, что и «Еврейскій Мір», о котором я говорил в прошлой книгѣ журнала.

Основное различіе сборников — в языкѣ, на котором они изданы, и, соотвѣтственно, в обращенности авторов разговорно - еврейскаго «На Распутьи» (И. Черниковера, Лацкаго - Бартольди, А. Менеса, Стефана Цвайга, Шарля Рапопорта, Бен - Адира, Д. Чарнаго, А. Штейнберга и др.) «внутрь», к себѣ или к прямым жертвам нынѣшняго антисемитскаго варварства.

«На Распутьи» — свидѣтельство глубочайшаго душевнаго кризиса и переоцѣнки самых, казалось бы, устойчивых цѣнностей, охватившаго еврейскіе интеллигентные верхи под вліяніем трагических событій послѣдняго времени. Всѣ авторы — выходцы из Россіи, обосновавшіеся в новых центрах еврейскаго разсѣянія: Нью - Іоркѣ, Варшавѣ, Парижѣ, Тель - Авивѣ, и настолько оторвавшіеся от русской культуры и общественности, что им, вѣроятно, почудится странным утвержденіе о чрезвычайной близости трактуемых ими проблем и владѣющих ими настроеній с настроеніями и мнѣніями, развивавшимися в разное время нѣкоторыми выразителями русскаго сознанія, исторіософскаго и политическаго.

Сборник интересен во многих отношеніях: как знаменіе времени, или документ эпохи, и как матеріал к познанію психологіи—индивидуальной, національной, общей всѣм народам. Сборник поучителен не только для историка національной (еврейской) культуры, но и для соціолога,получающаго возможность на новом матеріалѣ прослѣдить кривую зависимости идеологических заключеній от внѣшней обстановки. Всякая національная среда, при всѣх ея индивидуальных отличіях, подчинена общим законам психологіи и склонна одинаково отзываться на внѣшнія неудачи и разочарованія. И обращеніе в періоды неудач к тому, что называется «духовными костылями» — к вѣрѣ в загробный мір и особыя предначертанія, в «миссію» и «жребій» своего народа, становится, как правило, достояніем интеллигенціи почти всѣх народов в эпохи, когда они претерпѣвают неудачу. Своеобразно в таких случаях не столько содержаніе новой вѣры и увлеченій, сколько то, что новая вѣра захватывает совершенно, казалось бы, непредрасположенные к тому круги.

Эмансипація и просвѣтительство не спасли еврейства от ужасов и варварства современной, как будто бы культурной, Европы. Отсюда разочарованія не только в достиженіях **этой,** германской, итальянской и т. д. культуры, — но и свѣтской культуры вообще; отсюда и тяга к религіи, к возврату и реставраціи традиціонных чаяній и упованій, — хотя и они как будто бы имѣли свою исторію и свои неудачи, приведшія в свое время к нынѣ скомпрометированной вѣрѣ в поступательный ход прогресса и торжество разума и блага. Не то ново, что еврейскому народу приписывается в мірѣ особая миссія или предназначеніе, потому, что он искони обладает особыми качествами, или, обратно, — несравнимыя с другими свойства еврейскаго народа выводят из особаго «жребія» или «судьбы», выпавшей именно ему на долю. То же в разныя времена исторіи утверждалось и о русском народѣ, и о германском, и о польском, итальянском и т. д. Что неожиданно и необычно, это — что сейчас то же стали утверждать марксисты - бундисты.

«Еврейскую духовную жизнь и культуру невозможно сравнивать с жизнью и культурой других народов міра», — пишет даровитый А. Менес и воспроизводит, примѣнительно к еврейскому народу, почти буквально, ту самую характеристику, которую сто лѣт тому назад прилагали к русскому народу ранніе славянофилы! Исконная религіозность на почвѣ личной отвѣтственности, равнодушіе к центральному представительству, «плебисцитарная» (или вѣчевая) соборность, безгосударственность, — трудно подыскать большее сходство и совпаденіе.

Ново и то, что другіе идеологи, еще вчера не гнушавшіеся дѣлать общее «культурное дѣло» с коммунистами или всячески культивировавшіе чувство еврейскаго національнаго достоинства, сегодня рекомендуют своим сородичам отказаться от всякаго политическаго и культурнаго водительства даже в странах, гдѣ они являются полноправными гражданами, — и проповѣдуют уход в себя и даже «к себѣ», в средневѣковое «духовное гетто».

И тут авторы сборника повторяют русских публицистов и исторіософов, которые интуитивно предощущали наступленіе в Европѣ новаго средневѣковья, представлявшагося их духовному взору, усталому и разочарованному, как искупленіе большевистскаго грѣха и исцѣленіе от кошмара взошедшей над Москвой — Третьим Римом красной зари. Когда же ночь средневѣковья на самом дѣлѣ окутала центральную Европу, от нея в ужасѣ отшатнулись сами ея предвозвѣстники и пророки. Надо было пройти пятнадцати годам, чтобы средневѣковыя настроенія post factum овладѣли и вынужденными покинуть Германію, Австрію, Чехословакію и другія страны еврейскими политиками и исторіософами.

Бундисты, соціал - демократы и радикалы сейчас продѣлывают ту самую эволюцію, которая была продѣлана, и движутся по тѣм путям и перепутьям, которые были проложены их предтечами по марксизму и разочарованности в нем, по эмиграціи и по новому религіозному сознанію, — П. Струве, Н. Бердяевым, С. Франком, С. Булгаковым, А. Изгоевым и др. «На Распутьи» — новый варіант недоброй памяти «Вѣх» и повторяет многое из того в «Философіи Неравенства» и «Новом Средневѣковьи», от чего уже давно отказался и Н. А. Бердяев.

Эмансипація и демократія не оправдали возлагавшихся на них, может быть, слишком простодушных и скороспѣлых, надежд и ожиданій. Слѣдует ли отсюда, что онѣ и внутренне порочны? «Мученичество не есть довод в пользу истины», — говорил Спиноза, когда его склоняли принять католичество. Но мученичество, и тѣм болѣе недобровольное претерпѣваніе мук, не может служить и изобличеніем неправды, или свидѣтельством неправильности тѣх или иных взглядов. Ибо не по послѣдствіям узнается ложь и истина, и не по внѣшнему успѣху и удачѣ можно судить о существѣ идеи и движенія. **М. В.**

André Pieltre. La politique du pouvoir d'achat devant les faits. Expérience américaine et expérience française. — Paris, 1938. Стр. 253.

В актив двух правительств французскаго Народнаго фронта можно включить серію глубоко - положительных реформ: огосударствленіе

Французскаго Банка, широчайшее распространеніе принципа коллективных договоров,статут труда,учрежденіе«Office du Blé», національзацію (не юридическую, а фактическую) желѣзных дорог, двухнедѣльные платные отпуска трудящимся, повышеніе обязательнаго школьнаго возраста, національзацію военных заводов и т. д. Если-бы политика Народнаго фронта протекала по фарватеру только реалистическихъ мѣропріятій конструктивнаго соціализма, в духѣ указанных, постепенно преобразующих Францію в государство - модерн, он, вѣроятно, и понынѣ был-бы у власти.

Но кромѣ этого было сдѣлано многое другое, на чем уже лежит печать соціальнаго утопизма. Было, напримѣр, весьма плохо продуманное внѣдреніе 40-часовой недѣли, да еще в видѣ пятидневки. Было поощреніе такого повышенія заработной платы (на 30% — 50%!), которое, вкупѣ с 40 час. недѣлей и вздорожаніем импортнаго сырья, вслѣдствіе девальваціи франка, вздернуло на дыбы экономику и стало причиной огромнаго и неизбѣжнаго роста цѣн. Французскій національный доход, даже при полном сведеніи на нѣт имущих классов, не мог бы матеріально покрыть произведенныя повышенія номинальной зар. платы. Кто хочет имѣть серьезнаго гида, чтобы разобраться в сдѣланных в 1936 - 1937 г. ошибках, кто хочет воспринять экономическіе доводы, не отталкивая их «идеологически» и психологически, потому, что они не нравятся, тѣм книга молодого страсбургскаго профессора Андрэ Піэтрра будет очень полезна. Они найдут в ней обстоятельный, детальный, опирающійся на множество цифр, анализ «эксперимента» Рузвельта и им вдохновленнаго, но сильно от него отличающагося, эксперимента Л. Блюма.

В предѣлах коротенькой рецензіи нельзя обозрѣть вопросы, трактуемые г. Піэттром. Остановимся лишь на одном, — правда, нам он представляется самым важным. Справедливо доказывая, что французская экономика, как всякая другая, не могла - бы, без соотвѣтствующаго увеличенія производительности труда, перенести огромное повышеніе зар. платы, котораго от нея требовали синдикаты и лѣвыя партіи, г. Піэттр, к сожалѣнію, почти мимоходом, замѣчает, что она могла в 1936 г. «легко» выдержать «умѣренное повышеніе» всей суммы зар. плат. В качествѣ такового он указывает на 12% — норму договора Матиньон. Так-ли это? Общая сумма заработков рабочих и служащих Франціи в 1936 г. была 96 милліардов франков. Ея увеличеніе на 12% требовало - бы 11,5 милліардов. Вряд-ли эту гигантскую сумму можно считать умѣренной! И вряд - ли из'ятіе ея из рук не только «200 фамилій», а городских средних классов и крестьянства, можно почитать легкой соціальной операціей. Конечно, даже будучи повышена на 11,5 милліардов, общая сумма заработков все-таки была-бы на 15 милліардов меньше, чѣм в 1930 г. Но нельзя же забывать, что в 1930 г. національный доход был **243 милліарда** франков, а в 1936 г. всего только **189 милліардов.**

Е. Юрьевскій

André Labrouquère. — Capitalisme japonais. — Paris. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 1939.

С легкой руки марксизма капитализм слишком часто изображается, как явленіе единообразное, допускающее развѣ что различія в степени развитія. Об'ективная соціологія констатирует, однако, цѣлый ряд факторов—человѣческій, климатическій, историческій—опредѣляющих своеобразіе національных «капитализмов». Автор, ординарный профессор в Индокитаѣ, ссылается на Виктора Консидэрана и вспоминает, говоря об этикѣ «шинто», знаменитое изслѣдованіе Макса Вебера о вліяніи пуританизма на рост американскаго капитализма. На фонѣ этих методологических замѣчаній дана сжатая характеристика японскаго капитализма: его развитія и тенденцій в послѣднее время.

Три момента опредѣлили физіономію японскаго капитализма: а) особенности человѣческаго матеріала, включая сюда вліяніе духовных традицій и демографическую проблематику, б) феодальная структура, предшествовавшая капитализму, с) интервенція государства.

Части книги, относящіяся к роли государства и в «насажденіи» капитализма, и в его контролѣ в послѣднее время, представляются нам особенно заслуживающими вниманія. Идеологическія послѣдствія весьма исконнаго абсолютистскаго начала,—которое образуется из культа предков, подчиненія добровольнаго и даже «жертвеннаго» личности, семьѣ и государству, при отсутствіи «гуманизма» в европейском смыслѣ и религіозном почитаніи верховной власти,—обнаруживаются в наши дни в успѣхѣ національ - соціализма в Японіи.

Сближеніе Японіи с Европой, «модернизація» Японіи относится к концу 60-х годов прошлаго вѣка. В развитіи еще молодого капитализма наибольшую иниціативу проявляет само государство: создавая образцовыя фабрики, покровительствуя отдѣльным отраслям промышленности, эксплоатируя рудники, проводя желѣзныя дороги, централизуя администрацію, унифицируя валюту. Этот этап длится до 1890-го года. Роль государства ослабѣла в хозяйственной жизни страны между 1890 и 1905-м годами. Война с Россіей вновь усилила тенденцію «интервенціонизма»; правительство создает фабрики Явата, поставляющія промышленности 4/5 всего нужнаго желѣза, строит верфи, націонализирует желѣзныя дороги.

Чрезвычайный расцвѣт японскаго хозяйства в послѣдніе годы не был бы возможен без активнаго вмѣшательства государства. Это вмѣшательство протекало не в формѣ «плана», а скорѣе дѣятельнаго контроля и вмѣшательства, не прерывавшихся при смѣнѣ политических оріентацій правящих групп.

Под'ем промышленнаго развитія начался уже в міровую войну; Японія дѣлает все, чтобы эмансипироваться экономически; текстильная металло - обрабатывающая, химическая промышленность развиваются стремительным темпом. В 1930-м году создается вѣдомство **раціонализаціи,** проводящее огромную методическую работу. В 1931-м году выходит закон о **картелях,** обязательных для всѣх, если 2/3 предпріятія вошли в картель. С 1931-го года особое вѣдомство контролирует **качество** экспортируемых продуктов. Паденіе аграрных цѣн побудило госу-

дарство к ряду мѣропріятій: в 1933-м году вводится контроль продукціи риса; государственныя организаціи организуют планы, создают курсы, финансируют ремесленников и кустарный промысел. Наконец, с нѣкотораго времени существует нѣчто вродѣ «экономическаго генеральнаго штаба», разсматривающаго экономическія проблемы под болѣе широким углом зрѣнія.

Созданіе «независимаго» Манджуко вызывалось бѣдностью Японіи сырьем. Роли Манджуко автор посвящает интересныя страницы и дает ряд относящихся сюда цифр, которыя, впрочем, не идут дальше 1936 года. Заключительная глава о тихоокеанских интересах Японіи недостаточно убѣдительна: в ней почти совершенно нѣт анализа, даже самаго поверхностнаго, причин японско - китайской войны. Другим недостатком книги является нѣкоторая несистематичность изложенія. Оправданіем автору служит, что громадный матеріал, в котором статистическія данныя переплетаются с элементами очень широкаго синтеза, «вогнан» всего в 150 страниц.

Б. Г—р

Douglas Reed. Insanity Fair. — London 1938.

Автор «Ярмарки безумія» (варіант теккереевскаго заглавія, «Ярмарка тщеславія») был участником великой войны; затѣм стал заграничным корреспондентом англійских газет; жил, главным образом, в Германіи, но посѣщал и другія европейскія страны, побывал и в Россіи, и на Балканах. Его книга — очерк исторіи послѣвоенной Европы, на основаніи собственных впечатлѣній, бесѣд с государственными людьми, причем автор останавливается преимущественно на фактах и проблемах международных отношеній. Книга написана с той свободой от каких-бы то ни было предвзятостей, условных вербальных формул, лже - научных разсужденій о том, что принято, безграмотно, звать «національной психологіей» и т. под., с какой в настоящее время пишут, кажется, только англичане. Вмѣсто этого — реалистическое и производящее сильнѣйшее впечатлѣніе описаніе состоянія отдѣльных посѣщенных им стран, преобладающих там настроеній, и изумительная по проницательности и мѣткости характеристика общаго «климата» Европы с версальскаго мира и до сегодня. Первое изданіе вышло в апрѣлѣ 1938 г. Уже тогда автор предвидѣл и аншлусс, и раздѣл Чехословакіи. В послѣдующих изданіях — послѣ сентября — находятся дополнительныя главы, посвященныя аншлуссу (автор как раз тогда находился в Вѣнѣ). Из всего того, что он повидал на «ярмаркѣ безумія», он выдѣляет преимущественно данныя, свидѣтельствующія для него о «безуміи» англійской политики, которую он называет «политикой страуса» (« ostrichism »), — политикой, направлявшейся уже в пору заключенія мира, во-первых, увѣренностью, что возможно создать прочное состояніе мірового равновѣсія, третируя противника как побѣжденнаго и обезсиленнаго, и неспособнаго выйти из этого положенія (между тѣм как Германія **не сознавала** себя побѣжденной, т. к. война не была ведена на ея территоріи и ея военный потенціал не был уничтожен), а во-вторых, буржуазным предразсудочным страхом перед «красным призраком большевизма», который, на самом дѣлѣ, серьезной опасности для Европы не представ-

лял и не представляет, — что опредѣлило собою и разрыв Англіи с Россіей, и благосклонное в сущности ея отношеніе к авантюрѣ Франко (взявшагося, как выражается автор, спасать при посредствѣ итальянцев и нѣмцев Испанію от испанцев), и предсказанную автором пассивность Англіи в момент аншлусса, и ея, пусть и косвенное, содѣйствіе раздѣлу Чехословакіи. С апрѣля по октябрь 1938 г. книга Д. Рида выдержала **двадцать восемь изданій** — случай рѣдчайшій и являющійся первостепенной важности показателем перелома в англійском общественном мнѣніи. **М. К.**

«Документы великой пролетарской революціи». — Т. 1-й. Под редакц. И Минца, Москва, 1938. — Госиздат. 372 стр., ц. 7 руб.

В первый том серіи изданія документов октябрьской революціи вошли, впервые цѣликом публикуемые, протоколы и переписка военно - революціоннаго комитета, который был организован при петроградском совѣтѣ рабочих и солдатских депутатов, руководил октябрьским переворотом и в декабрѣ 1917 г. был ликвидирован, уступив свое мѣсто чрезвычайной комиссіи по борьбѣ с контр-революціей.

Хотя опубликованные в первом томѣ матеріалы и не содержат ничего существенно новаго, тѣм не менѣе, собранные в одном томѣ и содержащіе ряд забытых подробностей, эти документы дают цѣнный матеріал для характеристики атмосферы и обстановки октября. Очень много в этих матеріалах разбросано черточек, которыя характеризуют «малую исторію» октября и которыя будут использованы Ленотром русской революціи.

К сожалѣнію, нѣт никакой увѣренности, что документы приводятся полностью и без большевистскаго грима и ретуши. Бросается в глаза, что на всем протяженіи книги **ни одного** раза нигдѣ не упомянуто имя Л. Троцкаго. Нѣкоторые документы, явно принадлежащіе Л. Троцкому, приписаны Ленину, а под документами, под которыми должна была быть подпись Троцкаго, нѣт никакой подписи, — чтобы скрыть его участіе.

Такое отношеніе к историческим документам, конечно, не внушает довѣрія к точности и полнотѣ их передачи.

Если имя Л. Троцкаго повсюду безслѣдно вытравлено, то зато в предисловіи к документам всячески выпячивается и афишируется роль И. Сталина в работѣ военно - революціоннаго комитета. Однако, внимательно ознакомившись со всѣми документами, мы нашли всего одно выступленіе Сталина, если исключить его два - три односложных замѣчанія.

Это выступленіе датировано 16-м окт. 1917 г. и по своему содержанію меньше всего пригодно для прославленія его великой роли. Вот заключительныя слова крайне краткаго выступленія Сталина: «Теперь больше вѣры должно быть. Тут двѣ линіи: одна линія держит курс на побѣду революціи и озирается на Европу, вторая не вѣрит в революцію и разсчитывает быть только оппозиціей». Одна линія озирается, а другая не вѣрит. Вот и вся геніальная мудрость Сталина, о которой говорит автор предисловія.

Впрочем, Сталин выступал и еще раз. Это на засѣданіи 18-го ноября 1917 г., когда шла рѣчь об освобожденіи арестованнаго городского головы Шрейдера. Сталин взял слово и заявил: «не освобождать без допроса; этим шагом мы только доказали бы слабость нашего правительства».

Правопреемником военно - революціоннаго комитета явилась чрезвычайная комиссія по борьбѣ с контр-революціей. Но сюда относящіеся документы, конечно, изданы не будут. Военно - революціонный комитет охватил тот період дѣятельности большевиков, когда они подчеркивали еще «безкровность» своего переворота, говорили об Учредительном Собраніи и закрытіе газеты об'являли временной мѣрой, обѣщая скоро возстановить свободу печати. В сборникѣ мы находим много цѣнных матеріалов, характеризующих этот начальный період октябрьской революціи, когда не были еще сброшены фиговые листки словесности.

П. Берлин

КНИГИ, ПОСТУПИВШІЯ В РЕДАКЦІЮ

Н. Тэффи. Зигзаг. — Изд. «Русскія Записки», Шанхай, 1939.

Евгеній Замятин. Бич Божій. Роман. — Изд. «Дом Книги», Париж, 1939.

В. Ф. Ходасевич. Некрополь. — Изд. «Петрополис», Брюссель, 1939.

Рерих. Монографія. (Статьи Вс. Иванова и Э. Голлербаха. Худож. редакція А. Прандэ), ч. I. Изд. «Музея Рериха». Рига, 1939.

А. П. Выгодская. Исторія одной жизни, с предисловіем С. М. Дубнова. — Рига, 1938. Изд. «Dzive un Kultura».

Амари (М. Цетлин). Кровь на снѣгу. Стихи о декабристах. — Изд. «Дом Книги» и «Совр. Записк.». Париж, 1939.

Архив за стопанска и социална политика. Книга 1. Софія, 1939.

Dr. A. Granovsky. Politique Foncière du Keren Kayemeth Leisrael. — Edit. de la Terre Retrouvée. Paris 1939.

Pierre Pascal. — Avvakoum et les débats du Raskol (La crise religieuse du 17e siècle en Russie). — Ed. Honoré Champion, Paris, 1939.

Benoist-Méchin. — Eclaircissements sur «Mein Kampf» d'Adolf Hitler. — Albin Michel, Paris, 1939.

Bernard Pares. — The fall of the Russian Monarchy. — Jonathan Cape Ltd. London 1939.

Georg Sacke. — Prof. A. Voronov, A. N. Radiscev und der «Gnaden brief für das Russische Volk». — Verl. Lechte, Emsdetten, 1938.

Georg Sacke. — Adel- und Bürgertum in der Regierungszeit Katharinas II von Russland — Bruxelles, 1938.

Georg Sacke. — Die sozialen und wirtschaflichen Voraussetzungen der Orientpolitik Katharinas II. — Leipzig, 1939.

«Affirmation», Hebdomadaire de la vie et de la pensée juive. NN° 8-17. — Paris, 1939.

Непринятыя рукописи Редакція не возвращает.

Société Parisienne d'Impressions
4 et 5, rue Saulnier, Paris (9e).

Le Gérant : O. ZELUK.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1939-й год

на ежемѣсячный журнал

„РУССКІЯ ЗАПИСКИ“

выходящій в Парижѣ под редакціей П. Н. Милюкова.

«Русскія Записки» выходят регулярно в первых числах каждаго мѣсяца. Преслѣдуя цѣль — держать русскаго читателя в курсѣ событій во всѣх областях жизни и знанія — **«Русскія Записки»** дают из книги в книгу фактическій п е р е ч е н ь важнѣйших событій, происшедших в теченіе истекшаго мѣсяца, равно как и о б з о р ы — международной политики, **«Из міра литературы»**, **«Из міра науки»**.

Подписка принимается в почтовых отдѣленіях, в конторѣ журнала, в отдѣленіях газ. **«Посл. Нов.»** во Франціи и за-границей и в русск. книжных магазинах. В нижеперечисленных странах подписка принимается и в почтов. отдѣленіях: Бельгія, Венгрія, Германія, Данія, Данциг, Италія и ея колоніи, Латвія, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегія, Португалія и ея колоніи, Финляндія, Франція и Марокко, Румынія, Швеція, Швейцарія, Эстонія.

Подписка в почт. отдѣленіях обходится много дешевле, так как почта принимает на себя значительную часть расходов по пересылкѣ журнала.

Подписная цѣна:	**во Франціи**	В странах с пониж. почт. тарифом *)	В странах с полным почт. тарифом
На 3 мѣсяца	35 фр.	амер. $ 1.50	амер. $ 1.80
На 6 мѣсяцев	65 фр.	амер. $ 2.75	амер. $ 3.25
На 12 мѣсяцев	125 фр.	амер. $ 5.00	амер. $ 6.00

*) Страны с понижен. почтов. тар.: Аргентина, Бельгія Бразилія, Болгарія, Венгрія, Германія, Голландія, Греція, Египет, Испанія, Канада, Конго (бельг.), Куба, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Персія, Португалія и ея колоніи, Румынія, Турція, Урагвай, Финляндія, Франція и Марокко, Швеція, Швейцарія, Эстонія и Югославія.

Цѣна отдѣльн. № во Франціи 18 фр., за-границей — 80 центов (и 70 цент. в странах с пониж. почт. тарифом). **Для подписчиков «Посл. Нов.» — 12 фр. во Франціи (с пересыл. — 13 фр. 50 с.), 60 цент. за-гран. (и 50 цент. в странах пониженнаго почтоваго тарифа).**

Деньги, корреспонд. и об'явленія просят направлять по адресу:

«ANNALES RUSSES», 51, rue de Turbigo, Paris (3). France.

Tél. : ARC. 43-98. Ch. Post. 2221.68 Paris.

Адрес Редакціи и Конторы:
« ANNALES RUSSES », 51, rue de Turbigo, PARIS (3e).
Tél.: Arc. 43-98.